МИХАИЛ
ЛАПТЕВ

# КОСТЕР РЯБИНЫ КРАСНОЙ

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Повесть о судьбе первой в истории отечественной металлургии женщины-горновой.


- Костер рябины красной
  - 
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
  - ЭПИЛОГ

# Костер рябины красной

***Матерям и сестрам нашим, безвестным и беззаветным героиням тыла***

# *ГЛАВА ПЕРВАЯ*

Федосеев рывком отворил дверь и быстро вошел в маленькую приемную начальника доменного цеха. Свирепо глянул на взметнувшуюся было секретаршу. Та, наткнувшись на этот взгляд, как-то даже опешила и ничего не сказала. Федосеев, как был в прожженной суконной робе, в войлочной, с обвисшими полями шляпе, в подшитых катанках с обрезанными голенищами, в брезентовых рукавицах, густо заляпанных жидкой светло-рыжей глиной, прошел в кабинет.

Севастьянов удивленно посмотрел на вошедшего. Брови начальника цеха медленно сдвинулись к переносице.

— Ты что, Лукьян Кузьмич, позвонить не мог или кого помоложе прислать?

— Некогда трезвонить, Арсений Иванович. До беды рукой подать. Когда порядок будет?

— Какая беда? О чем ты? Говори толком.

— Сколько раз тебе говорить, погубите людей и печь нарушите!

— Ты что, не выспался, что ли?

— У Фаины четвертую плавку запустили, а печь не продута. Фаина — баба, к тому же, на печи недавно. Думает, авось пронесет. Знаю я этот «авось». С домной шутки плохи.

— А ты сядь да расскажи толком, что к чему. Водичка вон в графине, выпей, передохни. Может, чего покрепче?..

Федосеев досадливо отмахнулся, сел на краешек стула. Рукавицы сунул под мышку.

Сразу стал слышнее заводской гул за стенами кабинета. С надсадой дышали доменные печи. Доносились тяжелые удары с листопрокатного, суматошно вскрикивал паровозик, отвозящий в отвалы шлак.

Успокоившись немного, Федосеев посмотрел в отечное лицо Севастьянова, отметил увеличившуюся седину на висках, ощутил чуть заметный запашок перегоревшего спирта… Скованность и напряжение во всем теле, как перед дракой, не проходили.

Севастьянов отвел глаза. Ему было жалко старика Федосеева. Почти за два года до войны Лукьяна Кузьмича проводили на пенсию. А теперь вот уже второй военный год он опять стоит на своем месте. Месте старшего горнового второй печи. Севастьянов не мог спокойно видеть черные провалы глаз, обнажившиеся височные кости Федосеева, какую-то неприятную зелень на покрытых серым пухом впалых щеках. Видимо, Федосеев плохо питался или что-то у него с желудком.

Но нельзя было сейчас давать себе воли размягчаться, а тем более, потакать старческим «страхам». И Севастьянов доверительно придвинулся к Федосееву, тихо сказал:

— Никто не знает и не докажет, полезна ли продувка печи после каждой плавки. Не разрушает ли она весь ход печи, не старит ли ее? А время сейчас такое, что медлить с выплавкой металла ни секунды нельзя. Война идет, Лукьян Кузьмич. Сам понимаешь… Да с нас головы снимут, если мы чугун не дадим.

— Ты что, за мальчишку меня считаешь! — Федосеев с размаху шлепнул рукавицами по краю толстого стекла, лежащего на столе, и замысловато выругался. Во все стороны полетели брызги от рукавиц. Несколько желтых пятнышек попало на лицо Севастьянова.

— Сейчас же давай приказ — после плавки продуть первую печь. Слышишь! Не то я сам ее остановлю, — бушевал старый доменщик. — Я не посмотрю, кто там, что скажет…

Севастьянов, побагровев, поднялся, брезгливо стирая с лица капельки жидкой глины.

— Что за хулиганство! Распоясался, как у себя дома…

— Да ведь и ты не у себя дома, хоть и начальник, — не переставал горячиться старик. — Вишь, у него одного забота о фронте. А другие как будто груши околачивают…

Дверь кабинета с треском распахнулась, ручка стукнула о стену. Держась за косяк, в дверях стоял нескладный, худой и высокий подросток.

— Там… там… — заикаясь, он глотал воздух, — на первой печи Фаину… чугуном сожгло!..

Федосеев сразу бросился к парню, схватил его за отвороты суконной робы.

— Да как же вы?.. Кольша-а! Ий-эх!.. — оттолкнув парня, Федосеев выбежал из кабинета.

Севастьянов пошарил зачем-то рукой по столу, потом рванул с вешалки кожаное пальто и, не попадая руками в рукава, побежал следом.

* * *

Заботы, большие и малые, каждый день сваливались на Фаину. Теперь она отвечала не только за себя. Надо было думать о всей смене, о всех, кто стоял рядом. А дела шли далеко не безупречно. Вызывала тревогу печь. Ее давно не ремонтировали. Часто не находилось времени для продувки. Дескать, в военное время можно поменьше заботиться об оборудовании, главное —

поскорее и побольше выдать металла. К тому же часто не хватало ковшей для чугуна. Приходилось «перехватывать» летку, оставлять чугун в горне, пока не подвезут новый ковш.

Летку перекрывали вручную, «пушка», приспособленная для запечатывания летки, была маломощна. После «выстрела» приходилось идти врукопашную. В огнедышащее жерло лопатами бросали глину, железным стержнем уплотняли ее.

В ту роковую смену опять не хватило ковша. Пришлось «перехватывать» летку с кипящим в горне чугуном. Поначалу все как будто обошлось. После трамбовки обвалившихся кусков глины люди утирали пот, пили воду. Подручный — широкоплечий, но нескладный паренек Кольша — присел отдохнуть. Подошли рабочие с литейной канавы, закурили.

Пожалуй, никто не помнит, сколько прошло времени до того, когда пространство под фурмами зловеще засветилось.

— Летка!.. — крикнула Фаина и, схватив тяжелый стержень для трамбовки, бросилась к печи.

С шипением, разбрасывая фонтаны слепящих искр, вырвалась на свободу раскаленная добела струя.

— Глину! Скорее глину!.. — приготовившись к трамбовке, закричала Фаина. — Сухую, сухую давайте! — Только и успела крикнуть.

Но было поздно. Растерявшийся Кольша уже с маху шлепнул в горящий зев полный совок мокрой глины. Загремел взрыв. Упругий белый сноп брызг сбил Фаину с ног. Огненная тугая струя чугуна побежала по канаве, потом с треском и грохотом ринулась вниз, на железнодорожные пути.

Фаина вскочила на ноги. Вся одежда на ней горела.

— Летку!.. Летку перехватывайте!

Сорвав с себя суконную куртку, Кольша хлопал ею по Фаине, пытаясь сбить огонь. Фаина закричала от боли и побежала к большому железному баку с рыжей, отработанной водой. Неловко, боком повалилась в воду. Огонь зашипел и погас. Остро запахло паленой тканью.

Когда Фаину подняли из воды, она потеряла сознание.

Сбежались люди, помогли закрыть летку.

# *ГЛАВА ВТОРАЯ*

В сказочно-белый марлевый шатер над желтоватой медицинской клеенкой попала Фаина из перевязочной. С нее сняли все, даже клочки одежды, прикипевшие к живому телу вместе с брызгами жидкого чугуна. Руки и ноги Фаины подвесили на широкие ленты к раме шатра.

К вечеру собрался консилиум, пришли лучшие врачи города. Был здесь и Василий Георгиевич. Увидев Фаину в сплошных пятнах ожогов, он ощутил физическую и душевную боль. Вместе с тем он почувствовал, как все его существо как бы отгораживается от той, которая лежала сейчас под проволочным каркасом, обтянутым марлей, освещенная, как музейная редкость, десятками электрических лампочек. Трудно было поверить, что то, что лежало сейчас перед ним, было крепкой, стройной женщиной, с гибким станом, с упругой походкой, с неистребимой энергией и радостью жизни в голубых, со стальным отливом глазах.

— Обожжено больше трети поверхности тела. Вы же знаете, уважаемые коллеги, что не так страшен сам ожог, как опасна ожоговая болезнь, интоксикация, самоотравление организма ядами отмирающих на живом теле тканей. Где-то это очень близко к трупному заражению, к самозаражению. Не исключен летальный исход…

Речь главного хирурга города Михаила Васильевича Дорогавцева была пересыпана латинскими словами.

В кабинете, куда перешли врачи из палаты, стояла непривычная строгая тишина, за окном — ночь.

— Нам предстоит сложная задача. Но эту женщину мы обязаны спасти, — продолжил старый хирург. До войны Михаил Васильевич ушел на пенсию, а теперь снова сутками не уходил из больницы. — Будем ждать кризиса. Если пациентка перенесет его… А надо, чтобы перенесла.

Он погасил в пепельнице выкуренную лишь до половины папиросу и сказал:

— Желающих приглашаю еще раз осмотреть больную.

Впереди пошел он сам, невысокий, сильно сутулящийся, седой. На полшага сзади уверенно шагал статный, молодцеватый Василий Георгиевич. Он невольно укорачивал шаги, словно боялся обогнать Дорогавцева.

Все снова пришли к белому шатру, Михаил Васильевич стал расспрашивать плачущих санитарок и сестер, как ведет себя больная под белым каркасом.

И вдруг все замерли от неожиданности. Затуманенным болью взглядом на врачей смотрела Фаина. Глаза ее медленно двигались от одного к другому. Некое подобие улыбки тронуло губы.

— Как вас много!.. Из-за меня одной? Как же остальные… без врачей будут?

— Тебе не надо ни о чем беспокоиться, милая, — проникновенно ответил ей Дорогавцев. — Мы не отдадим тебя…

— Хлопот я вам… наделала.

Фаина застонала, скрипнула зубами, закрыла глаза. Лицо исказилось гримасой боли. Беспамятство снова одолело ее.

— Невероятно, — прошептал Дорогавцев. — Потрясающее самообладание! Идемте, друзья. Очень, очень жаль, если ее не станет, — сказал он уже за дверями палаты. — Сейчас позаботьтесь о самом квалифицированном, круглосуточном дежурстве. И никаких родственников! Только мы. Сами.

Постепенно из кабинета Дорогавцева ушли все. Остался лишь Василий Георгиевич.

— Форменное безобразие — ставить на такую работу женщин. Варварство… — как бы самому себе сказал Михаил Васильевич.

— Так ведь она сама. Понимаете, сама настояла, чтобы ее допустили к домне, — возразил Василий Георгиевич.

— Не повторяйте прописей, — отмахнулся старый врач. — Я хочу понять, как и что конкретно руководило этой женщиной. Откуда эта… непреклонность, что ли? Откуда все это выросло? Из чего?

* * *

Фаина почти не осознавала, что делали с ней. В короткие проблески сознания она превозмогала мучительную боль шутками. Эти шутки заставляли людей украдкой вытирать слезы. Она рассказывала им о себе, о своей матери, о подружке Галиме, о рябине, из которой делала бусы и браслеты, о брате Семене, который где-то воевал, о Федосееве и о неблагодарной Домне Ивановне, железной свекровушке, так безжалостно изувечившей ее…

Но с каждым часом, с каждым днем ее рассказы становились короче и сбивчивее. Неузнаваемо распухло лицо, губы покрылись струпьями и еле шевелились. На четвертый день она могла только беззвучно шевелить губами. Недоумевала, почему это все плачут вокруг?..

Кризис, которого с горячим нетерпением ждали врачи, долго не наступал. Прошла неделя, а положение не менялось. Моменты, когда к Фаине возвращалось сознание, становились все реже и короче. Временами Фаина бредила, беззвучно кричала, звала кого-то, бессильно пыталась изменить положение уставшего лежать на спине тела, обрывала лямки, державшие на весу руки и ноги. Казалось, неумолимо надвигался роковой исход.

…Фаине мнилось, что они с Галимой жарким летом сидят на холме под рябиной и Галима надевает ей на руки и ноги тысячу браслетов, сделанных из ягод рябины. Ряды браслетов доходят до локтей и плеч, поднимаются выше, тугими удавками охватывают грудь и шею. Фаина понимает, что вовсе это никакая не рябина, а капли раскаленного шлака, кипящего чугуна. Она пытается сбросить, отряхнуть с себя эти тысячи браслетов и поясов, бус и удавок, но они уже впились, раскаленные, в живое тело, от которого поднимается удушливый зеленый дымок…

Потом ей казалось, что она расшибает пикой спекшуюся от страшного жара глину, а глина не поддается. Она бьет все сильнее и сильнее. Неожиданно вся доменная печь обнажается. Фаина со страхом видит, как отлетают огромные листы обшивки, рушится толстая огнеупорная кладка, а высоченный пылающий конус руды и кокса медленно оседает, засыпая ее с головой, испепеляя, хоронит под собой.

То вдруг она видит забежавшего на часок брата перед самой отправкой на фронт. Он в гимнастерке, в хлопчатобумажных бриджах. Он показывает Фаине черный пластмассовый патрон, где скручен в трубочку кусочек тонкой бумаги.

— Паспорт смерти, — говорит Семен, — это все, что от меня осталось, когда я сгорел в танке…

И Фаина не удивлялась, что он стоит рядом, живой и одновременно сгоревший. Разве с ней не случилось то же?..

Фаину кормили через тонкую резиновую трубочку, пропущенную в нос. Одну за другой сменяли марлевые салфетки, пропитанные растворами то марганцовки, то риванола, то жидкой мазью Вишневского, пахнущей серой и сапожным дегтем. Время от времени в вену меньше обожженной руки вливали через капельницу кровь. Но язвы ожогов становились шире и угрожающе углублялись. Даже привыкшие ко всему сестры содрогались, когда нужно было делать очередную обработку. Лицо Фаины делалось бледнее, ее движения — более редкими и вялыми, голоса давно уже не стало слышно.

# *ГЛАВА ТРЕТЬЯ*

На улицах города весна все смелее и шире шла в наступление. Дни были ветреные, солнечные. Длинные сосульки на крышах росли от ветра как-то вкривь и вкось. Взлохмаченные воробьи с криком дрались, скандалили на тротуарах и крышах…

Фаина жила в это время как бы в двух мирах. Один был жестокий, реальный — с болью, пытками перевязок. Другой мир был добр, зелен и тепел, как детство, звонок, как юность, уверен, как зрелость. И эти миры вращались, сменяя друг друга.

Фаина, когда только-только появилась на свет, конечно, не могла слышать голос повитухи, бабки Бражки. Но об этом ей много рассказывала мать. А вот теперь Фаина явственно слышала этот немного ворчливый и вместе с тем ласковый голос.

— В мае родилась, — приговаривала бабка Бражка, заворачивая крохотное тельце в теплую пеленку и укладывая под материнский бок, — весь век маяться будешь. Ну да ничо! Наша бабья доля такая. Когда ни родись, все равно, кроме маяты, доброго мало. Живи давай…

На третий день девочку окрестили и нарекли Фелицатой, что означает Счастливая. Но это знал только староверский поп, однако он ничего не сказал об этом, Фелицата — и все тут.

Потом образ бабки Бражки исчезал и вместо него возникали то плачущая мать, то больной отец.

…Через два месяца после рождения Фельки началась война. Отца забрали. Первое время мать сильно горевала, но жить было можно. В хозяйстве две коровы, хорошая лошадь, в амбаре еще не перевелись зерно и мука. Не знает этого Фаина, ни той лошади, ни коров не видела. Но вот сейчас все это так отчетливо встает перед глазами! Правда, об этом не раз вспоминала потом плачущая мать.

Через год вернулся с войны отец. Был он страшно худой, бледный, первое время разговаривал с трудом. Пуля пробила ему легкие. По ночам кашлял кровью и тихо матерился, чего раньше с ним никогда не бывало. Ругал богатеев и даже самого царя-батюшку.

Мать с ног сбилась, ухаживая за ним. Продавала на базаре кофты, холсты, доставала в городе лекарства, которые прописал доктор. Видно, с того и оклемался солдат.

Первое время по хозяйству поправлял что надо. А потом уговорили его купцы, братья Мокроносовы, дали денег и послали в Ирбит, на ярмарку. Чуяло материно сердце, не кончится добром эта поездка. Упрашивала отца вернуть деньги, отказаться от

поездки. Куда там! Ходил ее Вася по горнице веселый. Смеялся над ее страхами, обнимал, успокаивал. Говорил, если выгорит дело, Мокроносовы в пай взять обещали. И станет тогда Фекла купчихой, в шелках будет ходить.

И уехал.

Да, не просто мужику в купцы пробраться. Не зря чуяло материно сердце беду. Навязался отцу в дороге попутчик. Все сказки рассказывал да вином угощал. Говорил, тоже в окопах вшей кормил. Оттого и доверился ему отец. Приехали в Ирбит, устроились в номерах. Хвать шкатулку, а она пустая. И попутчика след простыл.

Мокроносовы, конечно, все в счет поставили. Ни копейки не захотели скостить. Хоть всего малую часть заплатил им Василий, а лошади на дворе не стало, кошевой новой — тоже. И сам попал в кабалу.

# *ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ*

Порой Фаине трудно было отличить реальность от забытья. И вот в эти минуты, когда все виделось ей как бы в опрокинутом зеркале, а сознание отказывалось отделять бред от действительности, когда казалось, что приходит конец жизни и мучениям, и это перестало быть страшным, — наступало притупление, желание забыться навсегда.

В один из таких моментов наибольшего ослабления воли Фаина вдруг услышала близкое жужжанье шмеля. Она огляделась и вдруг увидела его совсем близко от своего лица. Увидела его оранжево-коричневого, со всеми бархатистыми полосками, с мохнатыми усиками и лапками. Шмель назойливо гудел, медленно кружил над лицом и порой задевал мохнатыми лапками нос. Фаина знала, что шмель может больно ужалить, и боялась, чтобы не ужалил. Она напряженно следила глазами за его полетом.

Потом шмель поднимался, увеличивался в размерах, становился неотчетливым, бесцветным. И наконец исчезал. И тогда Фаина видела ослепительный блеск электрических лампочек, белизну марли, обтягивающую каркас над ее кроватью.

Фаина понимала, что шмель не мог залететь под марлю, да и вообще откуда бы взялся шмель в это время года. И все же она старалась обороняться от него. Но даже от легкого движения ее пронзала боль, сознание мутилось. И снова возникали видения давно прошедшего детства.

…Мокроносовы после революции поутихли, исправно платили налоги, даже с должником Васькой Шаргуновым разговаривали, как с равным, заискивали, просили кое-что спрятать…

Однажды под утро казаки заняли Николо-Павловку. Лавка не закрывалась целые сутки. Мокроносовы принимали за товар охотнее всего царские деньги: были уверены, что скоро вернется старое.

К вечеру красноармейцы вновь вышибли беляков из теплых домов и заставили братьев Мокроносовых открыть лавку. За прилавок в качестве; приказчика поставили Шаргунова, а рядом молоденького бойца с винтовкой, чтобы никто не мешал торговать.

Ночью навалились белые со свежим подкреплением и вырубили почти всех, кто попал под шашку. Целые сутки белочехи и казаки шарили по дворам и хлевам. Выволакивали на снег полураздетых раненых красноармейцев и тут же шашками

приканчивали их на глазах у онемевших жителей…

В эту несчастную зиму заставили Мокроносовы отца с приказчиком ехать с обозом в город. Отец уговорил земляка свернуть с тракта в лес. Он знал, где скрывались красные. Колчаковский разъезд разгадал замысел беглецов. Началась погоня. Товарища Шаргунова ранили. Несколько верст по заснеженному лесу отец тащил его на плечах. Но тот так и умер в полуразрушенной землянке углежогов, где пришлось укрыться от преследователей.

Лишь через неделю отец глубокой ночью приполз домой. Весь горел в огне. Похудел до неузнаваемости, оброс, ничего не мог есть. Вскоре начал кашлять кровью — открылась старая фронтовая рана…

Прогнали колчаковцев, исчезли Мокроносовы, установилась рабоче-крестьянская власть. Но радость в семье Шаргуновых была омрачена. Отец — не работник, за ним надо было ходить, как за малым ребенком. Мать совсем сбилась с ног.

Летом девятнадцатого года отец умер.

— Ослобонил он тебя, Фекла, — успокаивали мать соседки. — Какая от него, беспомощного, польза?

— Ничо, не старо время, — толковал одноногий сельсоветский сторож, — советска власть о детях заботиться будет. Декрет, бают, такой вышел. Сам Ленин его подписал…

Хорошо, что хоть тетка Лукерья взяла Фельку к себе. Боюсь, говорила, одна в избе оставаться.

Только шесть годиков исполнилось Фельке, а помнит она ту весну. Пришла она с широкими холодными зорями, тонкий сказочный месяц сиял на темно-синем небе. Но все длиннее становились голодные дни. И мать не один раз горевала, что вряд ли хватит картошки до нови.

Все чаще стали ходить по Николо-Павловке нищие. Одни высохшие, с блеклыми глазами, другие — опухшие от водянки, стонущие и слезливые. Страшно было Фельке смотреть на них. Вдвойне страшно, когда Лукерья, пряча глаза, быстро говорила им: «Бог подаст! У самой, вишь, голодные рты…»

Фелька поэтому старалась чаще бывать дома. У матери голоднее, зато все равны. И нищим мать всегда что-нибудь даст. То старенькое, залатанное девчачье платье, то чашку колючего тощего овса. А когда давать стало нечего, пожалуется на свою вдовью долю.

Все чаще и чаще стала плакать мать. И Фелька, помнится, рядом с ней ревела. Обнимутся, бывало, и плачут.

— Ну, развели опять половодье, — ломающимся баском осуждал их Сенька, старший брат Фельки. — И когда это у вас

вёдро настанет? Прямо заживо себя хороните…

Он чувствовал себя старшим, главным в семье, но не знал, как взяться за дело. Все по дому делали мать, Верка и заневестившаяся Марфа.

Фелька стала задумываться, как сделать, чтобы мать больше не плакала.

Однажды в погожее июньское утро Фелька тихонько поднялась с дерюжки, натянула припасенное с вечера длинное Веркино платье, обтрепанное понизу, умылась и вышла в сенки. Вытащила из-под лавки старенькую корзинку, с которой бегала в лес за грибами, повесила ее на локоть, перекрестилась и закрыла за собой дверь.

Через час поднялись родные, а Фельки нет. Не на шутку встревожились, а потом подумали, что Фелька наверняка убежала к Лукерье подкормиться. На этом и успокоились.

А перед обедом привела Фельку домой тетка Азиза со своей дочерью Галимой. Галима чуть постарше Фельки. Тетка Азиза жила в Шайтанском ауле, на другом конце села. Там жили татары. В самом конце улицы стояла небольшая деревянная мечеть.

Увидев Азизу с девчонками, мать сразу догадалась, в чем дело. Ноги у нее задрожали, слова выговорить не могла. А тетка Азиза сказала:

— Твой девка к нам заходил. Христа-радки просил. Я смотрел, Феклин девка…

# *ГЛАВА ПЯТАЯ*

В начале третьей недели пребывания в больнице Фаина вдруг перестала чувствовать боль. Обманчивая, пугающая легкость захватила ее всю, без остатка. Фаина, содрогаясь от подсознательного ощущения, что это конец, медленно погружалась в небытие…

Она очнулась от сердитого жужжания шмеля. Он кружился над самым лицом, задевал ресницы, садился на кончик носа. Шмель сучил лапками, усевшись на нижнее веко, потом снова взлетел и стремительно кружил, всякий раз задевая ресницы, — того и гляди ужалит в нос или в глаз. Фаина завертела головой, вытянула трубочкой губы, сильно дунула, пытаясь отогнать насекомое от лица.

И тут она неожиданно отчетливо увидела над собой озабоченное лицо дежурного врача, заплаканные глаза медицинской сестры и санитарок, склонившихся над шатром из марли.

Фаину охватил страх, и она в отчаянии закричала:

— Что вы делаете? Не смейте плакать! Я еще жива. Прогоните шмеля! Я жить хочу, не хочу умирать. Мне нельзя умирать до победы. Слышите, вы?.. Отвяжите меня, я хочу пошевелить руками. Мне еще надо много работать… Прогоните шмеля, он мне надоел…

Фаине казалось, что стоило только собрать силы, и можно оборвать бинты, встать на ноги, выгнать в окошко опостылевшего шмеля. Она не знала, что ее никто не слышит. Сил хватало только на то, чтобы шевелить губами. Но и это, видимо, обрадовало дежурного врача. Сквозь слезы врач улыбнулась Фаине и поправила край сбившейся простыни…

Все увидели, что крепкое, когда-то сильное тело Фаины дернулось несколько раз, напряглись все мышцы лица. Больная скрипнула зубами. Затем вся обмякла, голова откинулась в сторону. Грудь начала высоко подниматься и опускаться. Воздух со свистом врывался в отвыкшие от глубокого дыхания легкие. А Фаины здесь уже не было. Она оказалась в парткоме.

…То совещание было коротким. В парткоме сидели старые доменщики, горновые, Лукьян Кузьмич Федосеев, секретарь парткома Казанцев. Заместитель главного инженера, седой, сутуловатый, с большими очками на горбатом носу, Исаак Ефимович Волькенштейн, обращаясь к Фаине, сказал:

— Со следующей смены, после продувки, на вашу печь, товарищ Шаргунова, будет подаваться другая шихта. Заводу

спущен почетный фронтовой заказ. Будем осваивать чугун новой марки. Он пойдет на броневую сталь. Об этом мало кто знает. Вас, товарищ Шаргунова, просим не распространяться на этот счет. Думаю, понятно?.. Вот и хорошо. На первых порах вам поможет Лукьян Кузьмич. Он и расскажет подробнее, что и как. Надо постараться, товарищ Шаргунова!

Фаина шла к домне и чувствовала, что снова, как бывало, за плечами у нее отрастают крылья. Ведь это именно ей доверили плавку нового чугуна, который пойдет на броневую сталь. Броневая сталь!.. Значит, у нас будет больше танков. А танки в нынешней войне — главная сила.

Ну, теперь держитесь, мужички! Она готова была сутками жить у доменной печи, чтобы не оконфузиться в новом ответственном деле.

Весь вечер они сидели с Федосеевым и двумя горновыми, рассчитывая и проверяя все, что предстояло сделать для первой плавки. Казалось, все расписано по минутам, а они снова и снова считают, спорят, перепроверяют. Когда все было готово, Федосеев, поняв возбужденное состояние Фаины, ушел к своей бригаде, сказав на прощание:

— Не тушуйся, девка, работай, как работала. Не буду тебе мешать. Сам не люблю, чтобы кто-то рядом терся… Главное, будь спокойная. Трудись, как всегда, только лучше.

— Спасибо тебе, Лукоян Кузьмич, — от волнения шепотом поблагодарила Фаина. — Век не забуду. Золотой ты человек…

Он крепко пожал ей руку и пошел к лесенке, не оглядываясь.

Фаина сосредоточенно ходила от одного работника к другому, всматривалась в лица, коротко и сухо говорила, кому что делать. Время от времени, пожалуй, чаще, чем обычно, подходила к смотровому окошку и через синее стеклышко смотрела в бурлящий кратер печи.

Слили шлак. Все ближе время выпуска первого чугуна новой марки. Размеренное тугое гудение воздуховода, мощный утробный гул печи, тоненький вскрик паровозика, тянувшего небольшие ковши со шлаком, — все эти звуки приходили в сознание Фаины как бы извне и тут же исчезали. Все внимание было направлено на летку, которую вот-вот надо будет разбуривать. Фаина мысленно пошла на колошник, оттуда вниз — по слоям косо оседающих к центру компонентов плавки. Чем ближе к зоне расплава, тем больше нарастал жар, который гнал вверх ядовитые доменные газы, ускоряя неотвратимый процесс кипения тяжелого рудного камня.

Оседали слои шихты, бушевало пламя, кипел в горне металл…

— Не пора, Фаина Васильевна?

Она вздрогнула и обернулась. Шестеро в суконных робах стояли за ее спиной. Она узнала троих. Это были Казанцев, Волькенштейн, военный из спецотдела, с которым ее познакомили перед этой плавкой.

Фаина молча кивнула и пошла к смотровому оконцу. По состоянию огня и кипящей поверхности, по неуловимым цветам побежалости, по десятку иных невидимых непосвященному человеку признаков она поняла: вот оно, начало! Фаина оглянулась.

У летки стояли два помощника, вдоль канавы тоже стояли люди из ее бригады, стояли они у насыпей глины, песка и в других местах, где должны были стоять во время выпуска.

И вот уже почти разбурена летка. Осталось лишь пробить тонкую глиняную перегородку, заслоняющую кипящий металл. Фаина протянула руку. Кто-то дал ей длинную пику, и все отошли на почтительное расстояние. Шаргунова широко размахнулась и с силой ударила в спекшуюся глину. Еще и еще…

Слепящий и всегда неожиданный, вырвался в полутемный литейный двор сноп искр. Фаина отскочила в сторону, бросила пику. Из летки тек чугун.

…Выпуск уже закончился, увезли ковши к мартенам, а люди не уходили, ждали результатов лабораторного анализа. Внутренне холодея, Фаина ждала ответа на самое главное. Справилась ли?

Плавка удалась. Ее поздравляли, трясли руки, обнимали, военный расцеловал ее. Потом все пошли на митинг.

Сколько раз до этого Фаина слышала немного завистливый, даже принижающий ее разговор за своей спиной. Говорили доменщики, подсобники, горновые. Мужчины.

— Передельный чугун любой дурак плавить может, коли печь отлажена. Подумаешь, удивила!.. Попробовала бы она сложный выплавить. А передельный — так себе, пустяки… Семечки!

Пусть-ка теперь кто-нибудь скажет! Чугун для броневой стали — это вам не семечки. А кто его плавил? Она, Фаина Шаргунова…

И снова ее портрет был напечатан во многих газетах. Приехал журналист из Москвы, писал с ее слов про жизнь, про ежедневные трудовые атаки. А с фронта вдруг стали приходить письма. На конверте стояло только: «Урал. Первой женщине-горновому Фае Шаргуновой». И, несмотря на столь неконкретный адрес, письма-таки доходили…

…Это был отрадный, почти здоровый сон. Даже ничем не болеющие люди после хорошего или приятного сна долго

чувствуют себя счастливыми…

Так миновал долгожданный кризис. Фаина начала поправляться. Самое страшное, что грозило ей теперь, — это контрактуры. Неподвижность суставов рук и ног, обтянутых тонкой, как папиросная бумага, очень непрочной пленкой новой кожи. Из-за этого руки и ноги нельзя было сгибать и разгибать, они постоянно должны были оставаться распрямленными. Иначе возникнет непоправимое ограничение при разгибании. Руки и ноги навсегда могли остаться согнутыми.

Самое главное, что сейчас нужно было Фаине, это вставать, ходить, двигаться, найти посильное дело для рук. Но всякое движение было строжайшим образом запрещено — грозили разрывы молодой кожи, тканей, только начавших заживать и срастаться. Фаина уже могла нормально, как все люди, есть и пить, хотя кормили и поили ее по-прежнему чужие руки.

# *ГЛАВА ШЕСТАЯ*

Теперь сны и воспоминания Фаины были ровнее, упорядоченнее. Шмель редко беспокоил ее и стал, казалось, добрее. Она перестала бояться, что он ужалит.

Понемногу выплывая из небытия, Фаина как бы заново переживала свою не очень долгую жизнь. Но она, эта жизнь, так была насыщена событиями, неожиданными, порой крутыми поворотами, что иному хватило бы на век.

…Перед самым голодным двадцать вторым годом отдали замуж старшую Фелькину сестру Марфу. Обыкновенной, шумной и многолюдной свадьбы не было, не на что было справлять. Да и приданым сироте не пришлось хвастаться. Мать сказала:

— Есть у Марфы приданое, неправда. Не у всякой девки такое.

И то сказать, Марфа была красавица, каких поискать. Увезли ее в какой-то Суходол, в оренбургские степи. Жили там материны дальние родичи, крепкая старообрядческая семья. Чтобы не изъянить вдову, договорились сват со сватьей вроде бы умык сделать. Приехал жених на кошевке, когда мать к соседке ушла. Завернул Марфу в тулуп и увез. Умыкнул, стало быть. Без родительского вроде бы благословения.

Потом приехали оренбуржцы всей родней. Жених перед будущей тещей на колени вставал, прощенья просил, ласково улыбался всем, подарки привез, никого не забыл… Потом тихо, без лишнего шума и свадебку справили.

Фелька загрустила, обидно стало, что некрасивая она.

— Мамка, я, наверно, вечно с тобой жить буду. И замуж никогда-никогда не пойду…

Слышит мать слезы у Фельки в голосе, а в чем дело, в толк не возьмет. С тревогой спрашивает:

— Что ты, Феля? Бог с тобой! С чего это ты взяла?

— Да-а, все вон красивые, а я — нет…

Рассмеялась мать, подхватила Фельку с полу, поцеловала, по голове погладила и тихо сказала:

— Дурочка ты моя. Да ты у меня лучше всех! И волосики у тебя шелковые, мягкие, и глаза вон какие голубые, как небушко. Сердечишко у тебя доброе, к людям тянется…

Фелька не поверила матери.

— Ты меня, мамка, жалеешь, вот и говоришь, что красивая я. Обманываешь…

С той поры, как привела ее тетка Азиза к матери, началась необычайная дружба у Фельки с Галимой, дочерью тетки Азизы. И

хоть немного постарше была Галима, но с Фелькой играла, как ровня. Особенно любила Галима украшать Фельку ягодами рябины, из которых замечательно умела делать бусы. А в эту их последнюю совместную детскую осень, когда Фельке пошел девятый год, они все дни были вместе. Часто ходили в лес. Он начинался сразу за татарским краем села Николо-Павловки, который почему-то русские жители прозвали Шайтанским аулом, проще — Шайтанкой.

Девчонки выбирали раскидистую рябину, рвали лучшие кисти, находили тихий, прогретый солнцем бугорок, густо поросший начинающей увядать травой. На открытом месте уже холодно, а здесь ветра почти не было. Они выбирали из кистей ягоды покрупнее и протыкали тонкой иглой с белой ниткой. Нанизав ягодины, девочки перекусывали нитку. Бусы получались и короткие, и длинные. Какие захочешь. Длинные можно было надевать на шею. Концы ниток на этих бусах завязывали сразу. Некоторые были такие длинные, что их можно было обернуть вокруг шеи несколько раз. А у коротких бус оставляли всегда концы ниток, чтобы потом можно было их завязать узлом. Такие короткие связки годились на браслеты для рук и ног. И девчонки завязывали их друг другу на запястьях и щиколотках.

Галима пела непонятные, тягучие песни, в которых Фельке слышались редкие удары бубна. Напевая, Галима кружилась медленно, широко раскинув руки. Фелька в свою очередь пела деревенские частушки, дробила голыми пятками по примятой осенней траве. Усталые, они шли к матери Галимы, и та угощала их творогом, который звался у них «крут», или поила кислым молоком с водой — «айраном».

Фелька все съедала без остатка, а чашку вытирала кусочком хлеба. Потому что горькие ягоды рябины, которые не годились на бусы, они с Галимой после пляски съедали. А от них появлялся поистине неутолимый аппетит.

Иногда Фелька уговаривала Галиму идти в Николо-Павловку. Фекла доставала из загнетки каленую глиняную чашку. Толченая картошка, сдобренная молоком и яйцом, сверху была нежно коричневая и пахла умопомрачительно вкусно.

* * *

Вот и пролетели памятные денечки! В тот год с первым снегом Фельку отправили в город. Он поразил девочку обилием улиц. Вдоль улиц стояло много каменных и полукаменных двухэтажных и даже четырехэтажных домов. Звались эти улицы

по-разному: Старобазарная, Кривоколенная, Береговка, Нагорная, Висимская… Вокруг города синели пологие горы. На вершинах торчали церквушки, собор, часовни и старинные сторожевые вышки. Весь город был как бы обнесен зубчатой стеной. За этими синими крепостными стенами Фельке смутно грезился совершенно иной мир, за которым уже непременно был самый край света.

Когда подъезжали к мосту через реку Тагил, чтобы проехать на Гальянку, так назывался поселок заводских рабочих и мастеровых, Фельку поразил завод. В небо тянулись черные трубы. Они были такие высокие, что приходилось запрокидывать голову, стесненную старым материнским платком. Из труб шел то черный, то жидко-коричневый дым. Из других труб, пониже, но зато таких толстенных, что и не обойдешь, подымались клубы пара. За высоким глухим забором кто-то отрывисто, страшно ухал, звенело железо. Стон стоял такой, что мост, по которому медленно ехали сани, постоянно дрожал.

Недалеко от завода, на Гальянке, жила Клавдия Сергеевна, двоюродная сестра покойного Фелькиного отца. У нее был свой дом, большое хозяйство. Рядом с улицей обширный луг, а

повыше, на горе, начинался лес. Мимо теткиного дома, по лугу поднималась к большому старому собору на вершине Заячьей горы дорога. Особенно много людей шло по этой дороге в престольные праздники, на рождество и пасху. В доме всегда было людно и шумно, заходили родственники, знакомые дяди, который был на заводе заметным человеком, доменным мастером. Дядю почтительно величали Глебом Ивановичем.

Только в большие парадные комнаты люди заходили не часто. Больше всего разговоры шли в столовой, в передней или в холодной горнице.

Клавдии Сергеевне нужна была нянька, помощница глухонемой Нельке, тоже дальней родственнице Клементьевых. Нелька вела в доме всю черную работу. Помощницей и нянькой должна была стать Фелька Шаргунова, сирота, которую из доброты взяли к себе родные, чтобы вывести в люди.

Фелька работы не боялась и даже делала то, что и не требовали. Уснет Ленька, младший Клементьев, а Фелька и пол подотрет, хотя и чистый он, и мебель протрет чистой влажной тряпкой. Найдет тетю Клаву и спросит, что еще надо сделать. На Фельке всегда теперь чистое, нелатаное ситцевое платье, сыта она каждый день, и у Клементьевых тепло, уютно, чисто и просторно. Но поначалу тосковала Фелька, что нет рядом мамки, Сеньки, смешливой Верки и малышки Марьки. Были бы рядом они, совсем хорошо было бы жить…

Только за уборкой и забывалась немного Фелька. Особенно ей нравилось протирать сухой мягкой тряпочкой только что отчищенные толченым мелом желтые латунные ручки окон и дверей.

Нравились Фельке и чугунные литые подсвечники со всякими фигурами, фарфоровые безделушки на комодах. Вместе с Нелькой они протирали все это. И уж совсем диковинной штукой был старинный клавесин, на котором никто не играл. Там, внутри, переплеталось много разноцветных струн. Если их потрогать, они звенели на все голоса.

А на стенах у Клементьевых висели желто-коричневые и темно-красные ковры. На некоторых был узор, а то и целая картина. Тонкие столбики, легкая крыша, странные люди в непонятных одеждах. А для них танцуют раздетые женщины. Или еще — принц вытаскивает из ножен голубой кинжал, а навстречу принцу идет черно-оранжевый, словно огромный шмель, тигр.

Как-то вечером долго не мог уснуть Ленька. А Фельке уж очень захотелось спать. Она-таки убаюкала Леньку, а сама на стуле заснула, да, видать, слишком крепко. Ленька проснулся, заорал, а Фелька и не слышала. Снится ей, что плавает она в

речке Тагил и вдруг тонуть начала. Затягивает ее страшный водоворот. Хочет Фелька крикнуть и не может — вода рот заливает. И вдруг кто-то большой подплыл и больно схватил ее за волосы.

Клавдия Сергеевна была не злая, но тут она тоже крепко уснула, а Ленька, как назло, разорался на весь дом, и никто не слышит. Может, и сама не помнит хозяйка, как дернула Фельку за волосы. С досады, видать.

Подняла Фелька на Клавдию Сергеевну глаза с недоумением. Никто Фельку до сих пор так не будил. В сердце у нее от несправедливости — боль, обида.

Опомнилась, знать, хозяйка, увидела все и не знает, что делать. Выхватила из люльки Леньку, шлепнула его пониже спины, а он еще пуще залился.

— Иди, Фелька, спать, — сказала Клавдия Сергеевна. — Хватит с тебя. Да не засыпай, если к делу приставлена.

Добрела Фелька до своего угла, где была постелена такая же, как дома, дерюжка, только поновее. Рядом похрапывала глухонемая Нелька. Легла, свернулась калачиком. Уснуть хотела сразу, да не смогла. Закипели вдруг на глазах слезы, прошила маленькое сердечко тонкая игла обиды. И заплакала Фелька, сдерживая рыдания. Плохо помнит, как заснула.

И приснился Фельке сон…

Пришел будто бы с работы домой Глеб Иванович, хозяин дома, где Фелька теперь жила. А Феля уже большая, как Нелька. Только слышит все и говорить умеет. А Глеб Иванович подмигнул Фельке, шлепнул ее пониже спины, как Клавдия Сергеевна Леньку, и сказал двум дядям, которые с ним пришли:

— Вот ведь какие дела! Советская власть — самая замечательная. Лучше ее нет. Только тоже, куда она без металла? Сталь ей, ой, как нужна. Да и чугун тоже. А кто их дает? Не Фелька же. Мы даем власти и сталь, и чугун. Без этих вот наших с вами рук любая власть — никуда! А кроме этого, что? Разве у нас русской души нет? Кабы не добрые люди, куда делись бы чужие сироты да убогие? Пропали бы под первым забором… Правда, Фелька? Да что она понимает? Так только числится в человеках. Ладно. Брысь на кухню!..

Удивляется Фелька во сне, как это ей, маленькой, говорит Глеб Иванович такие слова? Ведь он так разговаривает только с Нелькой. А Нелька ведь ничегошеньки не слышит. И говорить не умеет… Почему? Зачем?

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ

…Настало и такое время, когда Фаина стала просыпаться в своем марлевом шатре по утрам. Раньше, промучившись ночь в полубреду, в кошмарах и бессоннице, она по утрам была в глубоком забытьи.

Врачи, медсестры, санитарки, привыкшие ко многому, были все же как-то особенно обеспокоены судьбой Фаины. Все они знали, что строго-настрого запрещено говорить о болезни, ее исходе в присутствии самого больного. Но так как Фаина большую часть суток долгое время была без памяти, то сначала врачи и медсестры стали кое-что говорить насчет ее будущего. Потом за обычные пересуды взялись санитарки.

Так Фаина узнала, что ей грозит неподвижность. Тонкая, нежная кожа на сгибах суставов, сделавшись прочнее и грубее, потом не даст полностью разгибаться ни ногам, ни рукам. Узнала она, что конец лечения — еще не конец ее мучениям. А лишь начало других, едва ли не худших терзаний.

Впервые услышанное ею слово — контрактура — пугало уже самим звучанием. Хотя означало оно всего лишь сопротивление движению.

Не на шутку устрашилась неподвижности Фаина. Ведь еще и тридцати нет. Как же ей жить без движения?

После того как руки и ноги отвязали от рамы, а шатер унесли в кладовку, Фаина оказалась на положении ребенка. Разумеется, она не могла помнить, как училась ходить в далеком детстве, но понимала, что ей предстоит все это проделать заново.

Вечерами, когда отлучался дежурный врач, Фаина просила, а потом и требовала, чтобы санитарки, медицинские сестры помогали ей двигать руками и ногами. Но после первых же робких попыток чувствовала тонкие уколы разрывов. Нарастала тупая боль, и Фаина ощущала, как теплые струйки крови начинали медленно ползти по телу.

Чтобы не подводить хороших людей, Фаина стала упражнять руки и ноги сама. Она двигала ими все настойчивее, все энергичнее, пока на сгибах суставов не начинали алеть кровавые капли.

А впереди было еще несколько операций, попытки уйти из больницы, приступы отчаяния.

Фаина жадно читала в газетах сообщения с фронтов. Год этот был не легче двух предшествующих, но начался он радостно. В Сталинграде взяли в плен немецкого фельдмаршала Паулюса со всей его многотысячной армией. Защитники Ленинграда

прорвали блокаду фашистов. Один за другим освобождались из-под неволи оккупантов советские города. Все очевиднее становился провал захватнической войны Гитлера. Но до светлого Дня Победы было еще очень далеко.

Сон целебный, облегчающий сон наваливался теперь неожиданно и властно. Но он снова приносил прошлое.

…Когда заканчивалась весна и трава уже зеленела на пригорках, Фельке становилось жить просторнее. Ей давали крепкие, хотя уже изрядно поношенные и великоватые ботинки, залатанный на локтях длинный пиджак. Она брала хворостину и бежала за Гальянку вместе с рыжим теленком. Из-за Чашковой впадины, из сырого леса тянуло ознобной свежестью, верхушки сосен уже светились, теплые, обнятые встающим солнцем. И теленок вдруг начинал ни с того ни с сего беситься, скакать. Смешной его хвост с кисточкой на конце задирался куда-то вперед ушей, ноги уже не разъезжались, а как длинные пружинки дергались туда и сюда, взбрыкивая. Из-под копыт летели кусочки глины, ошметки прошлогодней перепревшей травы, брызги из непросохших лужиц.

У Фельки пропадали остатки сна. Приходилось догонять глупого теленка, следить, чтобы он не заскакивал куда не следует. Попозже приходили на зеленую полянку мальчишки и девчонки с черными, пегими, белыми и рыжими, как у нее, телятами.

Был у Фельки посередине солнечной полянки любимый серый камень. Камней, когда-то оторвавшихся от вершины горы, на поляне валялось много. Но у Фельки — свой, особенный. Утром он раньше других становился теплым. В его впадине удобно и хорошо сидеть, прижав коленки к подбородку и ждать, когда придут остальные ребята.

Раньше других приходил золотушный Коська. Он смотрел исподлобья, сопел, присаживался на самый краешек серого камня, который еще не успел согреться, и сам себе говорил:

— А моя хозяйка опять проспала.

— Скажи лучше, тебя не могла разбудить, — насмешливо фыркала Фелька.

Потом приходили остальные. Почти у всех были отцы или матери здесь, на Гальянке, только Фелька и Костя — сироты. У Кости даже и матери не было. Он, как сказала однажды Клавдия Сергеевна, круглый сирота. А Костя вовсе и не круглый. Он худой, угловатый и слабый. Костя хитрый и никогда не плакал, если ему попадало в драке.

Но Фелька всегда за Коську горой стояла. Спуску никому не давала. Если кто-нибудь постарше обидит его, тут Фельку не

удержишь! Поэтому Фельку уважали и побаивались.

Так проходил день. Телята, наевшись, лежали и дремали под солнышком. После обеда ребята менялись осколками цветных стекляшек, пестрыми камушками. Разделившись надвое, играли в «А мы просо сеяли-сеяли», в «Кондалы скованы», в «Гуси-гуси»…

Садилось солнце, тянуло свежим ветерком. Надо было гнать теленка домой. Теленок, сытый и вялый, сейчас еле плелся. А пастушке хотелось есть. Она ударяла хворостинкой теленка вдоль спины, и он бросался в сторону. Фелька догоняла неслуха и подхлестывала его с другой стороны. Теленок поворачивал обратно. Фелька прыгала то на одной, то на другой ноге и снова пыталась достать теленка хворостиной. Он припускался во всю прыть.

Вот так, прыгая, Фелька носом к носу столкнулась с Клавдией Сергеевной.

— А если бы тебя так? — строго сказала Клавдия Сергеевна, останавливая за плечо разгоряченную Фельку. — Ему ведь больно. Ты разве не понимаешь?

Хозяйка вырвала из рук хворостину и далеко забросила ее. Фельке стало жалко, что никто не видит, как она утром обнимает и целует этого теленка в холодный и влажный нос. Ведь никто в целом свете не знает, что она больше всех любит этого несмышленыша.

Фелька захлюпала носом и потупилась.

— Ладно уж, иди, — примиряюще сказала Клавдия Сергеевна и стала манить теленка в ворота. Но Фелька не ушла. Она подняла глаза на Клавдию Сергеевну и тихо сказала:

— Вы только маме не говорите. Она заругает…

# *ГЛАВА ВОСЬМАЯ*

…Утро началось как будто неплохо. Но есть такая примета: если с утра хорошо, то к вечеру или даже раньше обязательно случится какая-нибудь неприятность.

После завтрака, когда прошел обход, Фаина попросила пожилую санитарку Степаниду Ивановну помочь ей поработать руками. Превозмогая боль, не обращая внимания на выступавшую кровь, Фаина сопротивлялась усилиям Степаниды Ивановны, тренируя ослабшие за время неподвижного лежания мышцы. Степанида Ивановна рассказывала что-то, но Фаина плохо слушала ее.

— Это что еще такое? — загремел вдруг в палате высокий, возмущенный голос Михаила Васильевича. — Кто разрешил, кто назначил эту, с позволенья сказать, гимнастику?

Степанида Ивановна согнулась, как под ударом, и не могла вымолвить ни слова.

— Марш из палаты! — закричал главврач. Санитарка, несмотря на преклонный возраст, поспешно выбежала.

— Не виновата она, Михаил Васильевич, — сказала Фаина и просяще посмотрела на него. — Это я ее упросила.

— Зачем вы это делаете? Это неразумно, преждевременно! Вы все испортите.

— На завод надо скорее, — тихо ответила Фаина, — к домне.

Привыкнув за долгие годы работы в больнице ко многому, тут Михаил Васильевич схватился за голову:

— Вы думаете, о чем вы говорите? Нет, это прямо флагеллантка какая-то. Фанатичка.

А Фаине почему-то стало весело. То ли от непонятных, может быть, обидных слов, то ли оттого что гнев Михаила Васильевича не испугал ее. Увидев улыбку Фаины, главврач махнул рукой и пошел из палаты.

— Да, — вернулся он, что-то вспомнив, — с завтрашнего дня вам разрешается принимать посетителей.

Санитарки рассказывали Фаине, что несколько раз пыталась проникнуть к ней сестра Вера. Но ее не пускали, потому что главврач строжайшим образом запретил всякие посещения. Фаина стала думать о Вере…

…Осенью двадцать четвертого года Фелька побывала у матери, в Николо-Павловке. Ей шел десятый год.

Той же осенью мать второй раз вышла замуж. Отчим, Герасим Иванович, не понравился Фельке. Был он большеносый и угрюмый. Недавно у него умерла жена. С Герасимом Ивановичем

в семью Шаргуновых пришел и его двенадцатилетний сын Венка. Был он уменьшенной и бледной копией отца. Такой же молчаливый и большеносый. Но в школе учился хорошо, его ставили в пример другим. Герасим Иванович, подвыпив, только об этом и говорил. Гордился наследником. Голодные годы миновали, жить стало полегче. Отдали замуж вторую Фелькину сестру, Верку. Сенька, брат, подрос, стал здоровенным парнем. Работа в деревне ему не нравилась, и он все поговаривал, что уйдет в город, пойдет ломщиком в гору Высокую, будет кайлить руду. Говорят, ломщики при советской власти стали хорошо зарабатывать. Только вот лошадью бы еще обзавестись, тогда совсем хорошо стало бы. Знай катайся на таратайке с рудой от горы до завода и обратно. Школу первой ступени в своем селе Сенька закончил. Дальше бы надо учиться, но для этого необходимо ехать в город, искать квартиру. А кто кормить будет? Кормить в городе Сеньку было некому, а идти в няньки, как Фелька, он не мог. Все-таки парень. Пока что ходил к сапожнику Валитову, в татарский край села, в Шайтанку, помогал там и приучался к ремеслу.

Веркиного мужа звали Егором. Он был старше Верки на десять лет и носил пушистые рыжие усы. Работал в горе Высокой, старшим в артели ломщиков. На Гальянке у него свой дом, куда он и увез Верку. Егор-то и сманивал Сеньку податься в ломщики.

Теперь у Фельки была на Гальянке родная сестра, как будто частичка родительского дома перенеслась поближе.

Фелька опять стала жить у Клементьевых…

Боязно девчонке входить ранним утром в большой темный хлев. От мороза потрескивают углы, в объедках сена шуршат мыши, тяжело вздыхает в темноте корова. В самом темном углу прячется кто-то большой. Фельке вспоминаются страшные рассказы про чертей, которые живут в бане. Сразу приходит на ум, как на спор бегала ночью в селе мимо бани. Издалека разбегалась и неслась, что есть духу, мимо тусклого маленького оконца. Ноги у Фельки отрывались от земли, казалось, летит по воздуху. Баня только глухо ухала вслед…

Фелька начинала мычать пришедшую на ум частушку, гремела ведром и вешала как можно выше фонарь, который почему-то назывался «Летучая мышь». Свету становилось побольше. Она доила корову, задавала сено, потом носила сено овечкам, бежала на кухню за теплым пойлом для свиней.

После ранней утренней работы спать не хотелось. Ленька еще не проснулся, значит, есть время посидеть с тетрадкой и карандашом. Тетрадку, карандаш и букварь перед самым ее отъездом в Тагил купил Фельке отчим — Герасим Иванович. Он и

выучил Фельку складывать буквы, немного писать.

Фелька жила теперь у бабушки в пропахшей травами комнатке. Бабушка Ульяна — это мать хозяина Глеба Ивановича. Она добрая и не мешает Фельке заниматься. Подойдет, заглянет через плечо в тетрадку или букварь.

— Учись давай, сиротинка моя, золотиночка. Небось человеком станешь. Я-то так, подписываться только умею. А теперь время другое. Гли-ко, все учатся…

И керосину ей не жалко, можно было вечером почитать растрепанную книжку про Робинзона Крузо или сказки. Только вот мешала Фелька бабушке спать. Спали-то они на одной кровати.

Днем, как всегда, Фелька помогала глухонемой Нельке прибираться по дому, следила за печкой и плитой и возилась с подрастающим Ленькой.

К лету Фелька заметно вытянулась, стала угловатой, как все подростки. Теперь она бойко читала, писала матери письма. Перечитала все книги, которые были в доме Клементьевых. Только книги по железному делу были под строгим запретом Глеба Ивановича.

На склоне Заячьей горы опять паслись телята. У Фельки появились новые подруги. И разговоры пошли другие. Про училище, про работу за деньги. Изредка на полянку приходила Валя. Она была постарше и носила красную косынку. Ходила в техническое училище. Там, как она говорила, из них делали рабочий класс: учили штукатурному и малярному делу, рассказывали о глинах, алебастре, сортах цемента, красках. Валя получала стипендию, но скоро должна была пойти на практику. А это все равно что работа, и там все получают деньги. Не так много, не как настоящие рабочие, но все же больше стипендии. А сейчас у Вали были каникулы, вот она и ходит на лужайку с теленком.

Однажды Фелька попросила у Вали красную косынку и маленькое зеркальце. Она повязала косынку концами на затылок и долго смотрелась в зеркальце.

— Тебе идет, — сказала Валя. — Ты в ней — настоящая комсомолка.

С тех пор Фелька решила про себя, что надо как-то уйти от Клементьевых и поступить в училище. Ведь Валя еще рассказала, что там для тех, у кого в Тагиле нет своего дома, есть общежитие, им дают спецовку и кормят в столовой. А платить за это надо из стипендии. Денег, правда, совсем почти не остается, зато живи на всем готовом. Фельке даже сниться стало, как распрекрасно заживется ей в техническом училище. А главное — будет у нее

своя красная косынка. Такая же, как у Вали, только совершенно новая.

Как-то в конце Валиных каникул они сидели на теплом камне и говорили, что надо Фельке сходить с Валей к директору училища и поговорить насчет устройства.

Заговорившись, они не обратили внимания на шум в конце поляны. Крики стали ближе, и Фелька увидела, как девчонки и мальчишки с визгом, врассыпную бежали к ближним улицам Гальянки. За ребятишками скакали телята с обрывками веревок на шеях. Раздался короткий низкий рев, и девчонки увидели громадного черного быка. Пригнув к земле рога и крутя хвостом, он бежал на них. Впереди мчался с отчаянным ором золотушный Коська. Глаза у него были вытаращены, не различая ничего, он несся прямо на камень…

Валя побледнела, прыгнула за камень и со страхом выглядывала: что будет? Фелька схватила длинный ивовый прут и бросилась к Коське. Сшибла его с ног, с силой хлестнула быка по голове и отскочила в сторону. Бык вроде бы споткнулся, поднял голову, и Фелька увидела страшные, налитые кровью глаза. Бык скребнул передним копытом землю. Полетели вверх комья глины, трава, мелкие камушки. Фелька увернулась и хлестнула быка по спине. Бык неуклюже развернулся и как-то боком поскакал за Фелькой.

— Косынку, косынку сними! — кричала Валя что есть мочи, бессильно прыгая у камня. — Косы-ынку-у!..

Фелька вспомнила, что на ней красная косынка и сдернула ее. Бык остановился, поддел рогом красный лоскут и бросил его себе на спину. Потом заревел и стал опять копать землю. С окраинной улицы бежали мужики с веревками в руках. Бык взбрыкнул, словно отгоняя назойливого паута, махнул хвостом и затрусил от Фельки.

Когда подбежали мужики, бык спокойно стоял, угрюмо наклонив голову, Фелька сидела на траве и плакала. Она только теперь испугалась и почувствовала усталость.

Вечером к Фельке заявилась сестра Верка и принесла ситцу на платье. Бык-то ихний был. Фелька его немножко знала, отчасти поэтому и не струсила. Вообще-то он был смирный, но что-то с ним сделалось.

Пришла и Валя, принесла две книжки, по которым училась сама. И это очень понравилось Фельке. Даже больше чем ситец на платье. И все Фельку хвалили, восхищались смелостью и смеялись над бедным Костей, которого чуть не проткнул рогом черный бык. Фелька весь вечер не могла успокоиться, даже спать легла с Валиной книжкой. Бабушка Ульяна долго ворочалась на

краешке кровати, ей мешал свет, а Фелька все читала. Сон никак не шел.

Фелька переворачивала страницу за страницей, не вполне понимая, что там написано. Ей виделись лоснящиеся бока, комья земли и бычьи глаза, налитые кровью. Забывшись, она неловко повернулась и с ужасом поняла, что уснувшая бабушка повалилась с кровати. Фелька подпрыгнула, хотела ее поймать, но было уже поздно. Загремела опрокинутая табуретка, и бабушка Ульяна шлепнулась на пол.

— Ох, паралик тебя расшиби, неусыпа! Вот ведь полуношница… Ой-ой-ой!.. Поясницу-то так и перешибло.. Ох, чтоб тебя, согрешила я грешная… Вот ведь кобыла голенастая, столкнула-таки…

Бабушка Ульяна, кряхтя и охая, взобралась на кровать. А Фельку начал душить неудержимый смех. Она закусила угол подушки и тряслась от хохота, представляя, как бабушка Ульяна падает с кровати.

— Она еще и смеется, греховодница! Ух, вот я тебя…

# *ГЛАВА ДЕВЯТАЯ*

После короткого посещения Веры приходили в больницу двое с домны. Кольша с любопытством смотрел на нее, все порывался что-то сказать, но так ничего не сказал. Когда все ушли, воспоминания вновь одолели ее…

Вскоре после драки с черным быком Фелька не стала давать покою хозяевам, просилась на работу, ходила с Валей в училище, узнавала, нельзя ли ей туда поступить. Но Фельку не взяли. Сказали, что для поступления надо справку об окончании четырехклассной школы или об окончании школы переростков. В школах переростков учились те, кто после гражданской войны и во время разрухи не имел возможности учиться. Туда ходили по преимуществу подростки из многодетных семей, бывшие беспризорники, те, кто долго болел или по какой-то другой причине не мог ходить в обычную школу.

Фелька пошла в школу переростков. Ее взяли во второй класс. По годам ей надо было бы учиться в четвертом. Теперь она не могла рано вставать, доить корову, ухаживать за скотиной, прибираться в комнатах и нянчиться с Ленькой. Некоторое время она еще жила у Клементьевых, потом они взяли другую няньку.

Глеб Иванович дал немного денег. Фекла приехала из Николо-Павловки, устроила Фельку за небольшую плату на квартиру. Ученье давалось легко. По утрам бегала в столовую, мыла посуду и чистила картошку. По воскресеньям иногда работала в столовой целую смену. Ей там нравилось. Во время обеда столовая наполнялась разными людьми, было шумно и весело.

К четырнадцати годам Фелька вытянулась, в ней уже можно было различить крепкую привлекательную девушку. Ее любили в столовой за старание, за то, что она всегда соглашалась делать работу, которую считали грязной или неприятной. Ее часто просили заменить кого-либо из заболевших работниц, и Фелька не отказывалась. Во время каникул она работала в столовой наравне со взрослыми женщинами. Была подавальщицей, посудомойкой, помогала поварихе, скребла и мыла полы, окна, чистила плиту.

Пришли однажды какие-то люди. Бойкая девушка в красной косынке, коротко стриженная седая женщина с пристальными горящими глазами, усатый дяденька в холщовой толстовке с таким же холщовым портфелем. Потом Фельке сказали, что это из профессионального союза пищевиков. Они вызвали Фельку в контору, посадили рядом за стол, где обычно сидел заведующий.

Она смущалась, невпопад говорила что-то, сбивчиво отвечала на вопросы. Из разговора Фелька поняла одно: ее хотели куда-то и зачем-то выдвинуть. Тогда она насупилась и сказала:

— Не хочу я выдвигаться, я учиться хочу. Вот.

Эти трое переглянулись и засмеялись.

— Работать тебе еще рано, вот что, — сказал усатый дяденька. — Мы Фирсова, заведующего, оштрафовали за экс… то есть за то, что он тебя незаконно работать заставлял.

— Не заставлял он меня, — у Фельки на глазах навернулись слезы. — Его мамка моя упросила взять… нелегально.

— Что, что? — спросила седая тетенька, а девушка в красной косынке опять рассмеялась.

— А что, чем она хуже? — все еще улыбаясь, спросила девушка. — Вот вам еще одна юная конспираторша…

— Никакая вам я не спираторша! Я учиться хочу… И есть надо. Даром-то никто не кормит.

— Подумаем, как тебя в интернат определить, — сказал дядька.

Фелька стала учиться и жить в детской трудовой школе имени командира товарища Блюхера. Школа эта помещалась в большом двухэтажном особняке, бывшем доме богатого купца.

Кроме арифметики, письма, истории и географии, других обычных предметов, здесь учили домоводству. Кроили и шили майки, трусы, а девочки постарше — рубашки и платья. Мальчишек приучали к слесарному и столярному ремеслу. Жили в верхних комнатах, а в подвалах, где раньше у купца были склады, размещались всякие мастерские.

За два года учебы, которые пролетели как-то незаметно, Фелька несколько раз бывала в столовой, где она раньше работала. Здесь ее хорошо встречали, обо всем расспрашивали и обязательно кормили манной кашей с подсолнечным маслом. А Фелька нет-нет да и выходила в обеденный зал, быстро проходила между столиками. Она и сама себе не созналась бы, что невзначай хотела увидеть Яшу, веселого и красивого студента Свердловского института. Он, бывало, шутил с ней, говорил, что ей надо обязательно учиться, говорил, что будет помогать ей, если надо, заниматься с ней математикой и физикой.

У Фельки дрожали коленки, она краснела и убегала на кухню. Эти разговоры не остались незамеченными. И однажды пожилая подавальщица тетя Нина спела на кухне частушку:

Ах, Яшка, Яшок,
Мое сердце засек.
Засек, зарубил,

Молодую спогубил!

Фелька сразу поняла, что это про нее. Она не сердилась на тетю Нину. Просто почему-то стало стыдно, и она не выдержала, заплакала. А может, не от стыда, а от молодого, неосознанного смятенья, от предощущенья радости?

В то время по всему городу только и разговоров было что про новое большое строительство. Говорили, что очень скоро на плоских лесистых горах, куда все еще ходили за ягодами и грибами, поднимется громадный металлургический завод. Об этом часто писали газеты.

Фелька читала, но не представляла себе, как это на лесистых горах можно поставить завод, такой же большой, как тот, что у Гальянки. Ведь тот завод строили чуть ли не двести лет, а теперь хотят за какие-то пять-шесть лет построить чуть ли не в три раза больше, чем старый.

Рабочие в столовой говорили, что в рудных карьерах горы Высокой появилась невиданная паровая машина с трудным названием — экскаватор. Двое мастеров на этой машине делают столько, сколько шестьдесят здоровенных ломщиков.

Фаина вместе с другими бегала смотреть, как по новой железной дороге бегут вагонетки с рудой, и ни одна из них не падает. Вагонетки одна за другой бегут по рельсам, их тянут крепкие веревки, свитые из проволоки. Эти веревки уходят в высокую башню, в которой, говорят, стоит машина, сильная и умная. Когда Фелька узнала, что эта машина заменила целую тысячу лошадей с дребезжащими таратайками, она не очень поверила в это. Ну, может, сотню-другую лошадей и заменила. А тысячу? Сказать страшно!

Рядом со столовой, где когда-то начинала работать Фелька, выстроили две новых: одну большую, а другую поменьше. В малую местных рабочих не пускали, даже инженеры заходили редко. Там питались американцы и немцы, которых называли то заграничными, то иностранными специалистами, иностранцами. Рабочие в шутку называли их нехорошим словом, пропуская букву «т». Но все говорили, что пока без них нельзя. Ведь и машины тоже были заграничные.

Рассказывали, что им каждую неделю платили чистым золотом и кормили получше, чем своих. А Фелька видела золото только на руке у матери — тоненькое обручальное колечко.

Писали в газетах и о том, что где-то далеко, у горы Магнитной и в Сибири, тоже шли большие стройки.

А в городской газете уже не первый месяц писали про

ударный железный комсомольский полк. В него принимали только грамотную, отчаянную, сильную молодежь.

Парни и девчата из этого полка носили зеленые «юнгштурмовки», ремни с портупеей, береты и красные косынки. Они целыми сутками не уходили с площадок необъятной стройки, начавшейся сразу во многих местах города и за городом.

Вот кому от всего сердца завидовала Фелька. Да, то были не подсобницы в столовой, а настоящие строители новой жизни.

На Лебяжинском руднике пустили вскоре такую же наземную канатную дорогу, что и на горе Высокой. А в карьере Высокой горы появился уже не паровой, а электрический экскаватор. Он был без трубы, не так сильно гремел и пыхтел, а работал намного лучше парового.

«Скорее, скорее бы вырасти! И туда. На стройку, в комсомольский железный полк», — думала Фелька. Она покажет себя, ведь работы она не боится.

Много о будущем заводе рассказывал Яша. Говорил интересно, размахивал руками, горячился и ругал каких-то маловеров и нытиков, которые только мешают и суют палки в колеса.

— Ну, ничего, — он грозил вдаль кулаком, — партия им покажет, где раки зимуют. Партия в обиду не даст! Эх, Фелька, жалко, что больно ты молода. Расти давай да учись. Тебе советская власть все дороги открыла…

Тетя Нина на кухне как-то сказала Фельке:

— Что, не видать твоего Яшеньки? Нет его, на практику они уехали, в Сибирь. Он как-то тут про тебя спрашивал…

У Фельки сразу аппетит пропал и ложка из рук вывалилась. Ох уж эта тетя Нина, все-то она заприметит…

— Да ты не бойся, приедет ведь он.

— Больно нужно, — покраснев, ответила Фелька и отодвинула тарелку.

К швейному делу у Фельки душа не лежала. Поэтому после школы отправили ее на курсы младших зоотехников-кролиководов. В конторе долго объясняли, как это нужно и важно — разводить кроликов.

— Видишь, сколько новых столовых настроили, а люди к нам все едут и едут. Чем их кормить? С одного хлеба такую работу не потянешь, мяса надо. А где его сразу столько взять? Скотину резать нельзя. Ну, съедят сразу всю скотину, а потом что? Тут другое дело — кролик. С него ни молока, ни масла. Зато быстро растет, и мясо у него полезное. А потом тебя союз пищевиков выдвигает, как ты уже работала в столовой. Знаешь, что из ничего щей не сваришь. Так что поезжай, а потом видно будет…

Перед самым отъездом в Синекаменское приехал из Сибири Яша. И сразу разыскал Фельку. Чуть не всю светлую июньскую ночь простояли они под большим старым тополем на берегу пруда. Тополь временами шумел густой кроной, листья касались лиц. Яша обнял Фельку и хотел поцеловать, но она отодвинулась и сказала, что не надо этого, что они и так всю жизнь будут вместе. Вот тогда…

Долго молчали, смотрели на пруд и слушали себя. По пути к общежитию Фелька разговорилась, стала рассказывать о себе.

— Ой, какая же я еще глупая! Как работать начала в столовой, все хотела сладкого поесть. Так, чтобы досыта. Вот получу деньги, подойду к магазину и смотрю через стекло на конфеты да на пряники. Сама думаю: зайду сейчас, куплю фунта два сразу и все съем. Потом повернусь, пойду домой, а с дороги опять меня к магазину тянет. Снова подойду и смотрю, выбираю, что получше купить… Так ведь и не купила. Ну, там немного к чаю возьмешь — и все.

Они шли вдоль тихой улицы, держась за руки, а Фелька все говорила и говорила.

— А осенью этой мы Сеньку женили, брата. Он теперь на курсах учится, на машиниста. Хочет на экскаваторе работать здесь, в горе Высокой. Его дядя Егор устроил, у него там знакомых полно. Так вот, позвали меня готовить на свадьбу. Ну, там варить, жарить всякое… А я что-то устала, спать хочу, прямо до смертыньки. Вот сейчас упаду и усну. А дела невпроворот — и то надо, и другое, и третье… А тут я придумала. Вот сейчас, думаю, понесу тарелки, споткнусь, разобью их. Ну, все увидят, что я не могу, и прогонят спать. Иду, иду я с тарелками и, что ты думаешь, вправду споткнулась. Что тут было! Страх… Прибежали, охают, плачут, меня ругают на чем свет стоит. Говорят, руки бы у тебя отсохли и еще там по-всякому. И прогнали, конечно, увидели, что я не в себе сделалась. А мне вдруг так стыдно стало… И сон пропал. Хоть убей, не засну никак и все тут. Так всю ночь от обиды и проплакала…

В темном уголке у дома Фелька неловко ткнулась губами в щеку Яше. Тот сначала опешил, а потом схватил Фельку и крепко-накрепко поцеловал в губы.

— Я приеду к тебе в Синекаменское, ладно? Обязательно приеду.

# *ГЛАВА ДЕСЯТАЯ*

Сначала Фаина не обращала внимания на то, что Василий Георгиевич очень редко заходит в палату, хотя его можно было видеть проходящим по коридору хирургического отделения. Не было его и тогда, когда Дорогавцев предупредил ее о предстоящей пластической операции — пересадке кусочков здоровой кожи с бедра в центр незаживающих язв, образовавшихся после особенно глубокого ожогового поражения.

Надо сказать, что пересадка кожи в то время была новой, длительной, болезненной операцией. Чтобы действовать наверняка, не боясь отторжения ткани на новом месте, применялся метод так называемого шагающего стебля.

Такая операция длилась месяцами.

Конечно, у человека никогда не вырастет ампутированная рука или нога. Но ведь отрастают же у человека волосы и ногти, появляется на месте ожога и новая кожа…

Василий Георгиевич, разумеется, знал о предстоящей сложной и длительной операции, к которой готовили Фаину. Не мог не знать. И Фаина стала смутно догадываться, что Василий Георгиевич просто-напросто испугался ее увечья. Ей стало понятно, почему он отводил глаза, когда бывал на обходах, почему спешил выйти из палаты первым, почему ни разу не остался, не пришел поговорить, не утешил, не проявил участия…

А ведь когда-то… Когда-то он искал встреч, находил в них радость. Первый раз она увидела этого аккуратного, высокого человека года за два до войны. Чем-то он напоминал ей Яшу. За самоуверенностью и желанием быть непохожим на других у Василия Георгиевича проступала несамостоятельность, раздвоенность в поступках, поведении, в разговорах. Словно бы он не доверял сам себе. И даже это привлекало Фаину. Хотя именно несамостоятельность, раздвоенность Яши нанесла Фаине самую глубокую душевную рану.

На вечере в клубе металлургов как-то с ней заговорил молодой врач, которого прислали в хирургическое отделение новой больницы. Василий Георгиевич оказался или показался Фаине интересным собеседником, не давал, как другие, «воли рукам», много рассказывал о себе и работе. Фаине он был еще симпатичен и тем, что не докучал признаниями в любви и предложениями жениться. Однако она понимала, что всем своим поведением Василий Георгиевич давал ей понять, что у него по отношению к ней самые серьезные намерения.

С тех пор как-то повелось, что изредка он приглашал ее в

клуб, на вечера и учил танцевать модные танцы. Особенно ей нравилось танцевать танго, быстрый фокстрот. Новый знакомый водил легко, постоянно заботился о ней, смешил, был внимательным и нежным.

Но и он не остановился на этом. Пригласил однажды на холостяцкую квартиру, угостил ужином, вином. Как-то само собой оказалось, что близко уселись рядом на диване… И просидели так всю ночь.

Фаина стала собираться домой, когда уже начал брезжить рассвет. Василий Георгиевич был особенно внимателен и нежен. Удовлетворенный и успокоенный подтверждением каких-то одному ему ведомых догадок, он торжественно встал на колени и попросил Фаину быть его женой. В отказе Фаины ему почудился непонятый каприз или кокетство. «Скорее всего, — думал он, — это традиционное крестьянское правило — отказываться два раза, а на третий раз без чувств падать в объятия…» Он покорно, во второй раз попросил Фаину стать его женой.

— Не надо меня просить, Василек, — грустно ответила Фаина. — Я ведь не притворяюсь. Обещала я одному хорошему человеку. Не могу ни за кого пойти, пока он не откажется или не женится на другой.

Василий Георгиевич, наверное, сильно обиделся. Встал с колен и как-то нервно отряхнул брюки. Вымученно улыбаясь, он проводил ее до ближайшего переулка, поцеловал в лоб, как покойника, и понуро поплелся обратно.

Неведомо какими путями родне стало известно, что она ночевала у молодого доктора и что отказалась быть его женой. Сестра Вера, встретив ее, начала упрекать, учить уму-разуму.

— Не надо, Вера, — тихо попросила Фаина. — Раз уж я за Яшу не пошла, то за этого — тем более. Все они зачем-то жалеют меня, о моем будущем заботятся, жизнь мне облегчить хотят. А мне их забот и жалости не надо. Домработницей я ни у кого не буду. Я по-своему жить хочу. И сама всего добьюсь, чтобы меня никто ничем попрекнуть не смел. Чем я хуже Дуси Виноградовой?..

Фаина долго еще говорила, а Вера помалкивала и с родственным сожалением смотрела на младшую сестру. Нет, решительно девка не знает, чего хочет…

Так и расстались сестры.

* * *

Перед началом операции у Фаины побывало много народу.

Несколько раз приходила Вера, то одна, то с племянниками. Ребятишки были робкие, бледные. Сестра говорила, что Егор сутками не вылезает из экскаватора, что порой убежал бы лучше на фронт, чем постепенно убивать себя в надоевшей железной яме.

У них на улице Подгорной почти половина соседей получили похоронные. Как сойдутся бабы, так вой да причитания. Они, глупые, еще завидуют Вере, что у нее муж дома. Никто из них не знает, что Егор болен, у него язва желудка. И в редкие часы, когда он бывает дома, Егор подолгу простаивает на коленях у кровати, от боли не в силах подняться.

Приходили мужики с домны, принесли копченой рыбы, яблоки, банку варенья. По тем временам все это стоило бешеных денег. Но мужики успокоили ее, сказали, что помог профсоюз, а продукты достали из распределителя для высшего командного состава. Кольша из подсобного на канаве стал подручным горнового, гордился этим.

# *ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ*

В жизни каждого человека бывают такие дни, которые живы в памяти, пока жив сам человек. Такими стали для Фаины несколько дней, проведенных на соревнованиях лыжников.

Перед окончанием курсов инструкторов-кролиководов, в самом начале тридцать третьего года, Фаину включили в лыжную команду спортивного клуба «Пищевик» и отправили на соревнования под Свердловск. Она впервые попала в круговорот сверстников — молодых, шумных и невыразимо счастливых.

Над невысокими лесистыми Уктусскими горами то ослепительно сияло солнце, то висело безветрие и туман с изморозью часами задерживался между соснами, то падал необыкновенный, роскошный, совершенно сказочный снег, и снежинки на рукаве были самого неожиданного, причудливого рисунка.

На соревнования съехались лучшие спортсмены всей страны, которая сама в те годы переживала пору юного расцвета.

Дощатые помещения лыжных баз блистали восторженными словами о здоровье, спорте, молодости, ловкости и силе. Радиорепродукторы без перерыва извергали в небо марши, песни, гимны. Казалось, не было уже ни дня, ни ночи. Яркие прожекторы, гирлянды цветных фонарей горели с вечера до полудня. Во всех направлениях с раннего утра до поздней ночи спешили люди с лыжами и на лыжах. Гонщики, прыгуны, слаломисты, эстафетчики и просто соревнующиеся — все они расходились в конце концов по своим секторам, участкам, трассам и маршрутам.

В середине дня все шумными толпами заполняли столовые, толкались в переполненных буфетах, сбивались стайками в комнатах общежитий, пансионатов, а то и просто на свежем воздухе около снеди, захваченной из дому.

По вечерам музыка была потише. Под синими с золотом соснами туда и сюда сновали лыжники и лыжницы в ярких кофтах, свитерах, спортивных куртках, а чаще всего в обыкновенных домашних жакетах и пиджаках. Особенно те, кто, как и Фаина, приехали неожиданно и не имели яркой экипировки.

Взволновала, закружила и понесла Фаину по крутым волнам музыки встреча с Яшей. Удивительно, как мало они говорили, как с полуслова, со взгляда понимали друг друга, как охотно соглашались, как нелегко расставались по вечерам. И не спали, ждали утром встречи, потом разбегались каждый по своим

секторам соревнований, а вечером, нарушая расписание, снова не могли вовремя вернуться на место…

В тот первый вечер Яша был в легком белом полушубке. Он шел с тренировки, отдохнув после душа. Глубоко дышал, говорил о запахе сосны и снега, о том, как здорово, что встретил ее. Они долго ходили по еле заметным тропкам далеко от лыжных баз. Так далеко, что даже звуки музыки еле доносились. Время от времени они спугивали парочку целующихся в укромном уголке, под соснами. И уходили все дальше, уже не по тропинке, а по снежной целине. Однажды, когда оба порядком устали, они остановились.

— Феля, спасибо тебе, — сказал Яша, обнимая ее.

— За что же? — удивилась она.

— За то, что ты здесь, со мной, и мы одни.

Он утоптал снег около громадной сосны, снял полушубок и постелил его прямо на снег. Они сели и стали целоваться…

Следующим вечером, после соревнований они встретились за большим трамплином. Долго стояли, обнявшись, в тени навеса. Потом неожиданно для себя она сказала:

— Надо бы туда, к сосне, еще сходить. Бусы у меня там порвались Я утром собирала дома. То есть в комнате у нас. Десяти бусинок не хватает. Конечно, бусы дешевые, так себе. Да только они на рябиновые ягоды похожи. Я их люблю… Может, найдем?

И они пошли искать бусы. И ходили каждый вечер.

* * *

… Когда Фелька впервые приехала на кролиководческую ферму, расположенную за селом Синекаменским, ее поразили тишина и нетронутая белизна снегов. Ведь в Тагиле снег всю зиму какой-то серый, невзрачный.

Здесь длинными зимними вечерами, после того как многочисленное семейство кроликов уже накормлено, а клетки вычищены и продезинфицированы, можно о многом передумать. На память приходит всякое.

Вот и тогда часа полтора до обеда были свободны. Фелька в это время должна читать учебник по кролиководству и составлять конспект. Она уже дошла до белого великана, которого видела только на картинке да в собственной коллекции заведующего фермой. Говорят, иные из них не уступают по весу хорошему ягненку…

И тут она услышала песню. Прислушавшись, поняла, что поет

немец, заведующий кролиководческой фермой. Звали его Иоганн Карлович, а все служащие и работники фермы для простоты величали его по-русски Иваном Карповичем. В тот день Иоганн Карлович прямо соловьем заливался. Он пел:

Когда я на почта служиль ямщиком,
Был молот, имелайс сильенка,
И крепко же, брайтцы, в селенье одно
Любилайс в ту пору дефтшонка…

Комната Иоганна Карловича через стенку от комнаты Фельки, поэтому она слышала все, что делается у заведующего. До нее доносился невнятный ропот разговора, когда к немцу кто-нибудь приходил из работников фермы или приезжали из Тагила за кроличьими тушками, она слышала бряканье крышки закипавшего кофейника и скрип кроватных пружин, когда немец заваливался после обеда немного вздремнуть. А теперь вот он пел:

Сначала я в дефка не чуяль беду,
Потом задуриль не на шутка:
Куда не поехаль, куда не пойду,
А к ней побегу айн минутка!..

Фельке было смешно, как заведующий выговаривал русские слова, путал их окончания, а вместо некоторых слов вставлял свои. И в то же время в сердце ее бродила какая-то смутная тревога. Ей все время казалось, что песня поется неспроста, а предназначена ей. Она гнала эту мысль, однако ей не давало покоя то, что всегда аккуратный и сдержанный заведующий вдруг запел, да еще русскую песню, да еще один в комнате! Ведь немец преотлично знал, что Фелька дома и может услышать все это. Ему было лет тридцать. По представлениям Фельки, возраст уже солидный. А вот, поди ж ты, распелся, как молодой.

…Немец закончил песню, и Фелька услышала, как он загремел кофейником. Сейчас он разожжет спиртовку и станет варить на ней кофе. Пора было идти давать кроликам очередную порцию корма. Маленькие пушистые зверьки, наверное, оттого и росли так быстро, что почти постоянно ели.

Жизнь кролиководческой фермы размеренна и монотонна, идет по раз установленному порядку. Немец строго следит за тем, чтобы этот распорядок неукоснительно соблюдался. А Фельку угнетал раз и навсегда заведенный ритм, где все известно

заранее, где нечего ждать каких-то перемен или чего-то особенно интересного.

Иоганн Карлович с первых дней стал Фельку отличать от других. Как-то еще летом он вызвал ее в середине дня. Надо сказать, что к двум комнатам, в которых он жил, примыкало нечто вроде музея. В отдельных клетках жили кролики разных пород, каких только смог достать на месте или выписать из других краев дотошный Иоганн Карлович.

Коллекцию открывали вятский пуховый кролик и шиншилла, затем шли татарский пуховый и ангорский, особняком стояли русский горностаевый и белый великан, Однако гордостью заведующего был венский голубой. О благородстве и ценности меха этого кролика Иоганн Карлович мог говорить часами. Он рассказывал о международных аукционах, о миллионных сделках, о манто баснословной красоты и баснословной стоимости, о мастерстве немецких и австрийских селекционеров, выводящих замечательные породы и кладущих в банк полновесные барыши. Он говорил еще о близорукости русских, убивающих кроликов только ради их мяса, забывающих, что из кроличьего меха можно сделать даже мех обезьяны, конечно, с помощью великих достижений немецкой химии…

Фелька знала, что на ферме большей частью разводятся щипанцы и вятские пуховые. Кроликов особо ценных пород было мало, да и почти все они принадлежали служащим фермы. Она знала и то, что заведующий приглашал в свой музей только в исключительных случаях… Она тогда здорово злилась на немца за то, что он не разрешил приехавшему сюда на велосипеде Яше остаться до утра.

А заведующий закончил лекцию, аккуратно закрыл музей и повел Фельку в свою комнату. Там уже подплясывал на спиртовке кофейник. Иоганн Карлович сварил кофе и тут же налил по чашечке, бросив в них по кусочку сахара, потом, подумав, добавил Фельке еще кусочек и начал:

— Мне очень надо говорить с вами, дорогая Феля. Я уверен, что вы сердится на меня за Яша. Я вам должен сказать, что молодая девушка не может оставлять молодого парня… как это?.. Ночевать. Да! Вы пока не имеете свой дом. Этот дом вам дали на работа. Понятно? Я очень просиль вас учитывать это.

Фелька, насупившись, сидела на краешке стула и не притрагивалась к кофе. Немец маленькими глотками пил черную жидкость и, изредка останавливаясь обдумать какое-либо русское слово, продолжал:

— Вы выглядите настоящая немецкая женщина. Из вас можно делать хорошая хозяйка, жена. Вы будете любить детей и свой

муж. Вы любите чистота и стараетесь работать хорошо. У вас все признаки арийской раса, но вы славянка. Ваша раса ниже германский. Так бывает… Но там, у нас, в Германия, вам останется только знать язык. Вы будете иметь хорошая, богатая и спокойная жизнь.

Фелька начала догадываться, к чему клонит Иоганн Карлович. Ей становилось смешно. Ей хотелось убежать, но в то же время любопытство останавливало.

— Вы напрасно не пьете кофе. Это настоящий бразильский зерна. Прекрасный колониальный кофе. Я имею его из посылка, которую получил от моего друга из Германия.

Фелька, не желая обидеть заведующего, отхлебнула глоток горького напитка и поморщилась.

— Когда вы будете жить Германия, вы будете полюбить кофе. Вам нужно придумать хороший настоящий немецкий имя. Например, Гертруда. По-немецки это звучит очень красиво. О, почему вы не немка?! Но я должен вам говорить, что вы имеете большой недостаток. Немецкий женщина легко относится к чужой мужчина. У русских это называется грех.

Фелька почувствовала, что начинает краснеть, и пожалела о своем любопытстве. Она посмотрела на Иоганна Карловича. Он был необычайно тщательно одет и очень возбужден, хотя не показывал виду, что волнуется.

— Феля! Я не должен вас торопить. Вам надо много подумать. Я имею делать вам предложение. Я прошу вас становиться моя жена. И очень скоро мы поедем в Германия. О, это настоящая культурная страна. Вам понравится эта страна, и вы скоро позабудете своя Россия. Вы будете увидеть, как живут настоящие люди.

Заведующий кролиководческой фермой встал, выбрал из вазы на столе два цветка, по-военному щелкнул каблуками и с поклоном поднес их Фельке. Фелька от растерянности взяла их и тут же бросила на стол.

— Ни в какую Германию я с вами не поеду. Слышите! И ни с кем не поеду. Ишь, что выдумали? Предложение! Да вы подумайте только!..

Фелька опрометью бросилась к двери и выскочила в маленький коридорчик. Через несколько секунд немец увидел распахнувшуюся дверь, а в ней полыхающую от негодования Фельку.

— И про своих женщин вы нехорошо говорите. Нехорошо! Вот…

— Я буду увозить вас в Германия! — с громким довольным смехом крикнул Иоганн Карлович вслед убегающей Фельке.

# *ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ*

…Как-то в один из долгих больничных вечеров она, смущаясь, спросила дежурного врача:

— Мария Егоровна, а кто такие флагелланты?

— Кто, кто? Где ты слышала это слово? Зачем тебе оно?

— Да так просто. Прочитала как-то, еще до больницы, запомнила. А узнать нигде не успела. Думала, вы слышали…

— Да зачем тебе оно? Тебе разве об этом надо думать? Удивляюсь, честное слово.

А Фаине все думалось, что же это за слово, что оно могло обозначать, почему Михаил Васильевич произнес его мимоходом, а запало оно в душу? И вот уже — хорошо ли, плохо ли, а надо знать, что же это за слово такое? И вообще за долгие месяцы болезни Фаина вспомнила много такого, о чем забыла и в другое время ни за что не вернулась бы к этому.

Вспомнила она, например, как однажды пригласил ее доменный мастер с нового завода на какой-то вечер, где собиралось всего несколько человек. Такие вечера бывали в то тяжелое время редко, знали о них только те, кто принимал участие. Собирались обычно на окраине города, у одного из участников. Добывались вино и спирт, селедка, разная зелень, масло. Делались пельмени, беляши или пирожки. Ели прямо с горячей сковороды.

Вечеринки эти были немного грешные, ибо редко там бывали муж с женой, или, наоборот, жена с мужем. А участники во всем полагались на круговую поруку. Оправданием служили рассуждения: надо же дать себе немного отдыха от ежедневной текучки. Фаина отказалась от приглашения и помнит, как мастер с сожалением сказал ей:

— Неласковая ты, Фаина, какая-то неласковая… что-то из себя ставишь.

— Да разве можно думать об этом в такое время?

— А что время? Разве ты не знаешь, что и в войну один кровью кашляет, а другой дом строит. Не будь глупее себя… Думаешь, кому-нибудь нужна будешь после войны? Да таких вас миллионы останутся. Праведница!..

— А ты тоже не думай, что ты большой умник. Понадевали на себя кожаные пальто, обноски американских шоферов, и думаете, что вам сам черт не брат…

— Вот-вот, я и говорю. Поди, сама бы не отказалась от пальтишка или шелкового платья, а тоже мне, выламываешься. А ведь после сама скажешь, за что жизнь отдала, молодость?

— Дурак ты! Да я лучше голая ходить стану, чем чужие обноски таскать, чем продавать себя за рюмку да кусок сала.

Так у них и разладилось то самое дело. Фаина и не думала, правильно поступила или неправильно. Просто, не занимал ее этот вопрос. А сейчас вот почему-то вспомнилось.

А то еще эти талоны на вино! Фаина их сразу продавала, охотники были. А все из-за хлебных карточек. Один раз как-то потеряла их, голодала. На работу ходила с палкой, как альпинист. Наметит себе точку, идет, опираясь на палку. Отдышится и опять намечает точку. Снова идет. А на работе уже легче. В столовую сходит…

Один раз карточки свои отдала, когда доппаек стала получать. Семья у канавного большая, пятеро детей, а паек скудный. Ну и отдала…

* * *

Приближался, однако, тот самый день, в который Фаина наметила встать. И вот этот день наступил. После обеда в палате некоторое время никого не было. Самое удобное время, чтобы попробовать.

Фаина подтянулась на руках и оперлась спиной о спинку кровати. К этому времени шатер уже сняли, и ничто не мешало ей. Она завязала простыню на груди, под горлом… И как ни сдерживала себя, поторопилась, сразу вскочила на отвыкшие от ходьбы ноги. Тотчас же острейшая боль пронзила ее и бросила на пол. Во многих местах лопнула кожа. Кровь била фонтанчиками, простыня была вся в крови. Прибежавшая санитарка пришла в ужас, но быстро помогла Фаине лечь в постель, побежала за врачом. А у Фаины от радости чуть не выскакивало сердце. Ничего! Все будет хорошо. Она еще будет ходить! Почин был положен.

У Фаины было много времени, и она читала запоем книгу за книгой. Мария Сергеевна догадалась принести ей большой энциклопедический словарь издания двадцатых годов. Там она и прочитала о флагеллантах — католических религиозных фанатиках, живших в средние века, избивавших себя ремнями с железными крючьями или проволокой во время религиозных шествий во славу Иисуса. Таким образом эти фанатики наказывали себя за содеянные в миру грехи, очищали плоть от грешных помыслов, возносясь просветленным духом к Сладчайшему… Фаина возмущалась: разве ее старания поскорее вернуться к работе походили на кровавые самоистязания

религиозных фанатиков? Не находила похожести и все же мучила себя вопросом, почему такой умный человек, Михаил Васильевич, сравнил ее с этими сумасшедшими флагеллантами?

Через неделю она вставала каждый день, пыталась помогать санитаркам.

Но видения прошлого по-прежнему всплывали в ее памяти.

* * *

Вскоре после памятного разговора с Иоганном Карловичем на ферме случился пожар, сгорели кормокухня и навес для сушки шкурок. С тех пор пошли неприятности. Начались расспросы и дознания. В довершение всех бед осенью прошел крупный падеж кроликов.

Заведующего арестовали и увезли. Больше его никогда не видели в Синекаменском. Фелька вначале осталась за него, но очень тяготилась своими обязанностями. И она уволилась.

Биржа труда в Тагиле дала ей направление в ту же столовую, где Фелицата работала до того, как послали на курсы инструкторов-кролиководов. Сначала на кухне мыла посуду, потом попросилась в подавальщицы. Часто встречалась с Яшей. Он заканчивал учебу и должен был ехать на большой рудник, куда-то в Казахстан. Для Фельки наступала решающая весна. Сама для себя она давно уже решила, что при первом же удобном случае перейдет на завод. Ее не только тянуло к станкам. Фелька знала, что там можно хорошо заработать, а значит, и одеться, как люди, и чувствовать себя ни от кого не зависящей.

Фелька теперь жила у Веры, своей сестры. Верин муж, Егор, был не против этого, но Фелька и сама понимала, что у них тесновато. Вера уже ходила с третьим, скоро должна была родить. Поэтому хлопот по дому у Фельки становилось все больше.

Незадолго перед последним экзаменом Яша пригласил Фельку на заводской пруд. Они зашли в кафе «Поплавок», выпили по кружке пива и долго ходили по дорожке между старыми корявыми тополями. Солнце клонилось к горизонту медленно, и длинному светлому вечеру, казалось, не будет конца. На той стороне пруда, где высилась гора с часовней на вершине, в домах нижних улиц Гальянки загорались редкие огоньки.

Яша был незнакомо серьезен и тих, но в то же время чувствовалось, что все у него внутри натянуто, как струна. Хмуря брови, он то и дело отводил в сторону падавший на глаза темный чуб, покусывал губы. У Фельки сжалось сердце. Бесспорно надвигалась разлука. Что это такое, Фелька еще не знала. Только

сердце болело предчувствием.

— Знаешь что, Феля, — немного охрипшим и тихим голосом заговорил Яша, — мы с тобой скоро поедем в Казахстан. Чего тебе здесь оставаться одной? Я возьму тебя замуж, и мы уедем. Станем жить на новом месте. Так что можешь сказать своей сестре, что скоро отсюда уедешь…

Фельке вдруг отчего-то стало тоскливо. Прямо до слез обидно, что все случилось так просто и обыкновенно. Вот так вот взять и уехать? И все? И навсегда? Не по-людски это. Она знала, что родители Яши не разрешают ему жениться сейчас, да еще на какой-то безграмотной Фельке. Он рассказывал ей не все, но она догадывалась, что дома у Яши из-за нее нет мира и понимания.

Фелька прижалась щекой к горячему плечу Яши и тоже тихо сказала:

— Нет, Яшенька, милый, в Казахстан ты поедешь один. Ты ведь никого там не знаешь, и тебя там никто не знает. Все будет сызнова. Зачем тебе я? Только мешать буду.

Яша загорячился, стал доказывать, что все ее страхи — пустяки и бред, что все устроится к лучшему…

— Ты думаешь, я — неженка, маменькин сынок, да? Ты сама увидишь, какой я «маменькин сынок». Я ведь еду на работу, а с тобой мне там будет лучше, чем одному. Да и тебя там устрою на настоящую работу, а не в столовую. Там, знаешь, как рабочие руки нужны?..

Он говорил еще что-то, но Фелька плохо слушала. Ей вспомнился разговор с Яшиной матерью. Фелька запомнила ее раздраженное лицо, пошедшее желтыми пятнами, и ненатуральный ласковый голос, еле не срывающийся на истерический визг. Это была мать, бьющаяся за судьбу своего сына, от души желающая сыну лучшей доли и ради этого способная убить любую мечту и любовь.

— Феля, доченька, неужели ты сама не понимаешь, что не пара вы? Он завтра будет инженером, ему всю жизнь вращаться среди интеллигентных людей. А ты? Как ты, милая, будешь выглядеть рядом с ним? Ведь даже школу как следует ты не смогла окончить…

Разговор был с глазу на глаз. Она никогда не рассказывала о нем Яше. Чисто женским чутьем она понимала, что дело как раз не в Яше. Он ведь никогда ничего решительного не говорил дома, когда изредка приводил ее к себе.

— Подумай, миленькая. Он ведь сам себе рад не будет. Да и вообще, ему еще осмотреться надо на новом месте. Устроиться, обжиться. Он гордый, из дома ничего не возьмет. Да и у тебя все твое — на тебе. Как вы жить-то будете? Это же будет не жизнь, а

мука. И ему, и тебе…

Феля спокойно, твердо сказала:

— Знаешь, Яшенька, у Веры скоро третий родится. А те двое тоже еще глупые. Куда она одна с ними? Нет, без меня ей сейчас никак нельзя. Ты поезжай себе спокойно, устраивайся там, а если тебе нужна будет твоя Фелька, напиши. Напишешь, я и приеду.

— Ну, что тебе Вера? Что они, без тебя не обойдутся, что ли? А если бы тебя не было, тогда что?

— Но я ведь есть! Не могу я одну ее оставить, трудно ей. Ты же все понимаешь… А потом учиться мне надо. Ты без пяти минут инженер, а я кто? Посудомойка, нянька, подавальщица в столовой. И все! Тебя твои же друзья засмеют, проходу тебе не будет. Да и надо мной они смеяться будут. Ты грамотный, я — недоучка, полудурочка, А вдруг я тебе всю жизнь заторможу? Тебе надо будет дальше вперед идти, а я не дам. Проклинать ведь потом станешь…

Яша то ли сник от обиды, то ли обрадовался, что Фелька все решила без него, но только больше не упрашивал ее обязательно ехать с ним в Казахстан. Молча они еще побродили по освещенным электричеством дорожкам парка, посмотрели на потемневший пруд и отражающиеся в нем огоньки. Расставаясь, Яша обнял ее, и они долго стояли так.

— Ты обязательно пиши мне, слышишь? — Яша дышал Фельке в ухо, ей было щекотно, она уклонялась, а он все шептал и дышал, и невозможно было оторваться, оттолкнуть его. — Я тебе стану писать каждую неделю, только успевай отвечать. Ты будешь мне отвечать?

…Фаина протянула руку к тумбочке, открыла задвижку, нашла ощупью бусы. Те самые бусы, похожие на ягоды рябины, которые они с Яшей так и не могли собрать все в пушистом снегу Уктусских гор, под Свердловском.

# ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как часто горькое и доброе ходят рядом. Только что Фелька проводила Яшин поезд в дальний неведомый Казахстан, шла с вокзала, и грусть ее перемешивалась с радостью. Скоро она распростится с надоевшей столовой и придет в цех, к токарному станку. Есть твердое обещание — первого июля ее ставят ученицей к старому токарю Андрею Петровичу Грязнову. Завод, которого она побаивалась в раннем детстве из-за грохота, дымов и огненных сполохов, теперь возьмет ее в свою семью. Теперь она сможет кое-чего добиться. Пусть пройдут годы, но все когда-нибудь узнают о ней. Узнает и Яша, и его мать…

А город Тагил, эта старая вотчина Демидовых, неузнаваемо изменялся каждый день. Летом тридцать второго года газеты писали о создании новой большой строительной организации — Государственного управления по строительству и эксплуатации Ново-Тагильского завода, короче, треста Металлургстрой. На строительных площадках собирали новые экскаваторы и подъемные краны, похожие на одноногих и длинношеих журавлей. На всех окраинах шипели огни газосварочных аппаратов. И все яснее проглядывались очертания будущих стен, труб и бесчисленных улиц, рабочих поселков, которые уже загодя именовали торжественно и необычно — социалистический город, а ласково — соцгородок.

На станции Сан-Донато, названной так в честь последнего отпрыска владельцев старого завода, Демидова, купившего себе княжеский титул у обедневшего итальянского аристократа, на станции, имя которой было оставлено советской властью, как память о проклятом прошлом, — стояли длиннющие составы с шамотным и динасовым кирпичом, с огромными ящиками стекла, гвоздей, с платформами бревен, досок, брусьев, шпал, металлических конструкций, с вагонами, в которых была всякая всячина — от дорогих, купленных за границей на золото станков, до ивановского ситчика на платья ударницам-комсомолкам…

В жерле рудного карьера горы Высокой задымил первый паровоз, тянувший думпкары с рудой.

Через год в Тагиле состоялось торжество. На стройплощадку приехал сам нарком тяжелой промышленности, любимец рабочих и гроза нерадивых Георгий Константинович Орджоникидзе. Товарищ Серго. К этому времени была пущена электроподстанция первой очереди в двадцать пять тысяч киловатт. Между старой частью Тагила и строительством металлургического гиганта начали бегать автобусы. Готовились к сдаче в эксплуатацию

первые цехи огнеупорного завода. Теперь не надо будет возить издалека и за большие деньги огнеупоры, сталеразливочный припас для будущих доменных и мартеновских печей.

На Гальянке появилась «Ударная бригада журналистов». Они ходили из дома в дом и записывали воспоминания старых горняков, доменщиков, прокатчиков и другого работного люда. Седые деды и бойкие старушки взялись за неслыханное дело — по ночам, склоняясь над столом, скрипели перьями, описывали свою жизнь. Они становились на склоне лет писателями. С благословенья самого Максима Горького начала создаваться первая книга о рабочих, написанная руками самих рабочих. На собрании авторов будущей книги ее решили назвать «Были горы Высокой».

…В механическом цехе кончилась смена. Прозвучал гудок, но никто не пошел к выходу. Молодежь и старики, парни и женщины — все столпились у станка секретаря партячейки Василия Евстафьевича. Сегодня после смены нужно было всем цехом выходить на угольный двор, выбирать из мусора куски угля и возить его на тачках к дверям углепомолки. Без этого остынут котлы, замрет вся работа. Кто-то не позаботился в свое время об угле для механического цеха, и вот теперь…

Но выбирать уголь из мусора не пришлось. Прибежал посыльный от железнодорожников. Заводу прислали эшелон угля из Кузбасса.

Вот так, просто, задолго до официального провозглашения произошла встреча руды Урала с углем Кузбасса. Правда, пока без речей, аплодисментов и музыки. Да, собственно, аплодировать было рано. Рейс был еще длинный, тяжелый и дорогой.

А Фаина Шаргунова как раз рассчитывала на свободный вечер. Поэтому и надела свое светлое выходное платье. И если в нем еще можно было выбирать уголь из мусора, то разгружать вагоны уже никак невозможно… Но переодеваться уже некогда.

Да! Почему Фаина, а не Фелька, не Фелицата? Дело в том, что Яша перед отъездом взял с Фельки слово, что она переменит свое имя. Это было несложно, и, к тому же, в те годы какое-то поветрие шло по перемене имен, фамилий. Решительно порывая с прошлым, строя новое, люди не хотели идти в будущее с именами, навязанными попами. Вот и Фелька заплатила требуемую сумму и стала уже не Фелицатой, а Фаиной.

…Совковая лопата, если берешь ее в руки первый раз, кажется страшно тяжелой и неудобной. А в совок надо еще набрать угля как можно больше и кинуть как можно дальше. Хорошо еще, что Василий Евстафьевич дал свои рукавицы. С

каждым броском Фаина набирала совок все полнее. Экономя силы, широко отводила локоть назад и бросала уголь в проем двери.

Было жарко. А если налетал легкий ветерок, он поднимал облака угольной пыли. Мелким порошком она сыпалась с ресниц в глаза, щекотала уши, противно скрипела на зубах. Очень скоро все перемазались не хуже кочегаров. Пот лил по лицу, оставляя на щеках светлые промоины. Фаина не хотела и думать о своем светлом выходном платье.

Все участники субботника смеялись друг над другом, сверкая белокипенными зубами да голубоватыми белками глаз. Впрочем, особенно смеяться было некогда. Завтра к вечеру состав должен быть выгружен. Если нет, то его подадут под разгрузку в другой цех, где от угля тоже не откажутся…

Платье прилипло к спине, но бросать работу никак нельзя было. И пусть шуток становилось все меньше, но ритм движения лопат не затухал.

У Фаины от непривычной работы ныла спина, казалось, ее уже никогда не распрямить. Хотелось разорвать стягивающий грудь лифчик, чтобы дышать посвободнее. Но разве она позволит себе остановиться, когда другие работают не разгибаясь? Ни за что в жизни!

Василий Евстафьевич швырнул лопату из вагона, и она зазвенела, скатываясь вниз по куче угля. Он тяжело вздохнул и отер лицо тыльной стороной ладони.

— Кажется, на сегодня хватит. Завтра еще по вагону — и уголь наш. Пугают, что увезут завтра… Кончайте, ребята. Девки тут заметут, и по домам.

Фаина, ощущая предельную усталость, в то же время испытывая новое глубокое чувство удовлетворения и даже гордости, побрела к сестре, домой, на Гальянку.

А вскоре, выбирая делегатов на заводскую профсоюзную конференцию, Василий Евстафьевич предложил кандидатуру Фаины Васильевны Шаргуновой, и все согласились. Она пришла на конференцию в белой кофточке, в темно-синей юбке. На голове алела косынка, о которой она еще недавно только мечтала. Платье, светлое выходное платье, сшитое по последней моде, на полторы четверти ниже колена и с поясом по бедрам, годилось теперь разве что для работы по дому.

# ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Фаина после разгрузки вагонов с углем описала беспорядки на углепомолке, о том, как часто там не бывает угля, что никто по-настоящему не хочет беспокоиться об этом. Два листика из школьной тетрадки исписала убористым почерком и показала секретарю партячейки Василию Евстафьевичу. Тот прочитал, подумал, пожевал губами и посоветовал:

— Пошли в нашу рабочую газету «Труд». Может быть, и не напечатают, а толк будет. Должен же кто-то знать о нашей беде.

Как гром, прозвучала на заводе заметка Фаины Шаргуновой, напечатанная-таки в газете «Труд». Фаину вызвали в партком завода. После долгого и обстоятельного разговора о том, что и как получилось, секретарь комитета, улыбаясь, спросил Фаину.

— Тут мы собирались тебя в комсомол рекомендовать, а теперь нас из-за тебя к большому ответу тянут. Как нам быть, ты не подскажешь, а?

Фелька молчала. Смотрела в глаза человеку, который годился ей в отцы, и не произносила ни слова. А сердцем она чуяла, что не ошиблась. И ликовала, скрывая это застенчивостью и молчанием. Ее рекомендовали…

На заводе произошли незаметные с виду, но испугавшие поначалу Фельку события. Был снят с работы какой-то заводской деятель, который занимался материально-техническим снабжением. На Фаину стали посматривать с нескрываемым любопытством.

Вскоре ее приняли в комсомол, выдали билет. Фаина плохо помнит, как и что говорила в райкоме, как рассказывала о себе. Говорят, постепенно освоившись, она стала рассказывать все. Как голодали, как умирал отец, как о ней позаботилась советская власть…

А вечером — клуб. Народу на этот раз было негусто. Парни где-то успели немного выпить. Плясали под гармонь русского, шестеру, цыганочку с выходом… Потом танцевали фокстрот. Вася Пузыревский, комсомольский секретарь, угостил Фаину большущей порцией пирожного. Потом Эдька Погадаев читал стихи. Фаина стихи не любила, может быть, потому, что не понимала, но ей врезались в память строчки:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза, —
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

Эти строчки вызвали у Фаины щемящую тоску и ожидание чего-то непременно большого, таинственного. И много лет спустя, когда она станет взрослым человеком, эти строчки будут жечь ее, как жгли когда-то сердце красные ягоды рябины.

И вот первое комсомольское поручение. Фаине предложили выступить на траурном митинге, посвященном памяти зверски убитого врагами рабкора Григория Быкова. Ее взволновало это предложение, она боялась, что у нее ничего не получится. Там ведь будут говорить его друзья, старшие товарищи, опытные партийцы… А кто она? В то же время и отказываться не хотелось, да и невозможно было. Комсорг Вася Пузыревский сказал ей:

— Подготовься, товарищ Шаргунова, как следует. Не ударь в грязь лицом! Скажи о Быкове, как о старшем брате. Надо, мол, подхватить выпавшее из рук знамя и нести его дальше и выше. Надеюсь, тебе и так все понятно? Смотри, не подкачай!

О трагедии на Гальянке писали не только городская и областная газеты. «Правда», «Известия», «Труд» также опубликовали материалы о гибели уральского рабкора. Фаина засела за подшивки газет, где когда-то печатались материалы Григория Быкова. Около десятка разных заметок набралось в многотиражке «За металл». Она читала короткие, горячие строки и старалась увидеть, понять этого человека.

Он казался близким ей безрадостным детством сироты-беспризорника, затем батрачонком у богатеев. Он терпел голод и холод, переносил побои, насмешки, обман…

Фаина, читая заметку за заметкой, горячо сочувствовала автору. Тот с волнением писал о начале работы на руднике во время социалистической реконструкции. Вот он с гневом говорит о пробравшихся в их бараки кулаках, как те испортили автогенный аппарат, на котором работал Быков. Несмотря на срыв работы и ремонт аппарата, Григорий вышел победителем в затеянном им соревновании, хотя и далось это нелегко — несколько суток не уходил с работы домой.

Для Фаины эти заметки еще хранили тепло руки, написавшей их, Ей нравились и заголовки, броские, как плакат, и концовки-лозунги: «Сделаем октябрь 1932 года месяцем красного приступа на фронте ударного труда!», «Ударник, даешь вторую профессию!», «Поможем складчиной социалистического труда Уралвагонстрою». Сам Григорий Быков стал экскаваторщиком, внес двухнедельную получку в фонд Вагонстроя.

Фаина читала и как бы видела: вот вокруг экскаватора почти каждый день толпятся люди. Она как бы слышала обрывки

разговоров. Подрядчики обирали рабочих артелей, вчерашние кулаки и их подлипалы не гнушались никакой клеветой:

— Начальники наши угробили денежки на заграничные машины, а от крестьянской кобылки все равно никуда не уйдут.

— Да что там говорить! От этих машин только шум да вонь… Мужичок простой лопатой больше сделает.

— Такой железный слон придет на борт ямы да и обвалится в нее. Вот тебе и механизация, хе-хе-хе!..

А Быков с товарищами делали части к экскаватору в кузнице, износившуюся или испорченную кем-то ночью арматуру снимали с других, устаревших паровых машин. И Каримов, у которого учился Быков, вел экскаватор к забою. Они верили в себя, эти люди, как верили в технику, во все новое, что приходило на рудник. Верили и давали крепкий отпор всем, кто хотел помешать…

Фаина сидела и думала, как начать и чем закончить свою речь. Она со стыдом вспоминала свое первое выступление тогда, после ее первой заметки, появившейся в газете и наделавшей столько шума в цехе. Но с тех пор стала выступать на всех собраниях, и раз за разом ее короткие выступления становились четче, убедительнее, весомее…

Ее взволновала обстановка строгой торжественности похорон, вздохи траурного марша, заплаканные лица детей и близких родных Григория Семеновича, лежавшего теперь на высоком помосте, в гробу, засыпанном цветами.

— Ко мне мама приехала, когда я в комсомол вступила, — начала она. — Думала я, она ругать меня будет. А мама спросила, ношу ли я теперь крестик серебряный, ее благословение. Я говорю: нет, мама, не ношу я его давно. А где, спрашивает, он? А я его в пруд закинула еще года два назад. А она заплакала. Погубила ты, говорит, и себя, и мать родную… Я ей говорю, что религия — обман народа. А мама все плачет да грозит карой. Всех, мол, вас, придет время, перевешают за отступничество. Осердилась я и спрашиваю, кто же это осмелится вешать нас? А мама одно твердит: найдутся, мол, люди…

Фаина повернулась в сторону гроба и заговорила громче, увереннее:

— Находятся еще звери, которые стреляют в спину хорошим людям. Они и машины портят, и саботаж устраивают. Дай им волю — они завтра всех нас отравят. Но никто не даст им такой воли! Нас не испугаешь, нас много, мы сильные. Мы поняли, что только сами можем построить для себя хорошую жизнь на земле. Партия не даст нас в обиду никакому врагу, какой бы он хитрый и коварный ни был. Классовый враг пролетариата будет

повержен! — так говорит партия…

Она стряхнула со лба бисеринки пота, посмотрела в притихшую толпу.

— Работаю я недавно, но вот уже стала строгалем. Норму выполняю не хуже мужиков. Стараюсь учиться. Может быть, меня тоже пугали, только я не испугалась. И теперь в ответ на кулацкое злодейство я берусь еще лучше работать и учиться буду. Давайте мы все хорошей работой отомстим врагам за смерть Григория Семеновича Быкова.

Потом она, несколько сбившись, сказала и о выпавшем знамени и что его надо высоко нести дальше, но вместе с этим почувствовала, что переволновалась, что надо заканчивать.

Когда шла домой, задумавшаяся, встревоженная происшедшим, услышала сзади негромкий голос:

— Хорошо поет пташка, да где сядет?

Сначала не поняла, что это относится к ней, потом услышала второй голос:

— Да, что и говорить, девке пальца в рот не клади.

Фаина вся внутренне сжалась. С неприятным чувством увидела, что знакомые люди ушли далеко вперед. Помимо воли ускорила шаг. Ведь все равно она ничего не сможет поделать с двумя мужчинами. Благоразумие заставило ее не поддаваться на провокацию, быть спокойной и трезвой. Тот, первый, крикнул вслед:

— Смотри, скоро допрыгаешься, сороконожка!..

Обидное слово почему-то рассмешило. Фаина пошла медленнее, спокойнее.

# ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Как-то уж так сложилась жизнь у Фаины, что одно испытание шло за другим. Передышки были короткими. Недели спокойной жизни можно было пересчитать по пальцам.

«Долой домострой! Разрушим до основания старый семейный уклад! Свободу и равенство — каждой женщине!» — кричали со стен плакаты. «Вся наша жизнь — борьба. Выстой и победи!» — звали транспаранты и лозунги в клубах.

Газеты и радио прославляли сестер Виноградовых, Пашу Ангелину, Марию Демченко.

«Быть бы хоть в чем-то похожим на них!» — эта мысль не покидала Фаину.

Однажды утром произошло неприятное объяснение со старым мастером, учившим ее токарному и строгальному делу. Андрей Петрович Грязнов — токарь, неплохой строгаль, умел фрезеровать, досконально знал слесарное ремесло. Он отвел Фаину в сторонку.

— Вот что я тебе скажу, Фелицата, — по привычке он все еще звал ее старым именем, — ребята на тебя в обиде. Посуди сама, ты здесь без году неделя, а всем уже тобой глаза колют. Вот, дескать, вы по десятку и больше лет в цехе торчите, а девчонка вас обставила… Нельзя так, Феля, охолонь, осмотрись, подумай. Не все ведь здесь дураки да лодыри!

Фаина сразу догадалась, что речь идет о рекордной выработке ее, строгаля Шаргуновой. В три раза перекрыла она норму на обработке валика разливочной машины. Она не тратила время на перекуры, на болтовню о семейных новостях. К тому же, с вечера готовила болванки и инструмент, ухаживала за станком. Ей удалось сделать нехитрое приспособление. Вместо одного валика по норме, она стала делать три, да еще принималась и за четвертый.

И вот вместо одобрения — упреки, да еще угрюмое предостережение.

— Чего городишь-то, Андрей Петрович, — резко сказала она, — аль мне около станка кадриль танцевать? Да меня совесть заест до смерти! А тебе-то не совестно?

— Ты меня, девка, не совести, — озлился старик. — Соплива еще, вот что! А тебе что, больше всех надо? Берись давай за иную работу или на фрезерный переходи. Я научу…

— Никуда я не перейду, стану по четыре валика давать, вот! А вам всем придется подтягиваться. А то я еще и парторгу все расскажу, Василию Евстафьевичу.

— Вот и опять дура вышла. Да ведь по норме — один валик за смену! Пойди поговори с нормировщиком Никандровым, он тебе мозги-то и направит. Туда же еще, пугать вздумала! Смотри, не оборвись, девка…

— Ты тоже меня не пугай, Андрей Петрович. Много нынче пугальщиков. Пугаться устанешь. А нормировщику укажут где надо.

Грязнов плюнул и отошел, бормоча что-то невнятное. Настроение испортилось. Не хотела обидеть старого человека, а, выходит, чуть ли не врагами стали. Ну и дела! Час от часу не легче.

Неожиданно припомнился Мишка, который иногда приходил к ней со своим другом Фаридом, угощал конфетами, намекал на женитьбу. Этот самый Мишка один раз изображал Андрея Петровича, Очень смешно и похоже.

— Не смотри, что он простой с виду. Он хитрущий — прямо беда!

Мишка горбился, хмурил брови, покашливал и хриплым тенором пел:

Я — рыжеватенький в плечах,
Корявенького росту,
Ноги до полу,
Голова тесом крыта,
А в зубах портной ви-си-ит!

Фаина долго смеялась, а Мишка прямо расцветал от удовольствия.

Она стала неплохо зарабатывать, ушла от сестры Веры. Да и тесновато там стало, когда подрос третий ребенок. Фаина сняла угол у дальних родственников в большом пустующем доме. Киселевы жили вчетвером: старик с женой, сестра жены и престарелая бабка. Дети Киселевых выучились и разлетелись по стране. Раз в год приезжали в гости, стараясь совместить отпуска так, чтобы беспокоить стариков в один раз. Дом наполнялся шумом, веселыми песнями, плачем детишек, суетой и возней. Проходила неделя-другая, и дом опять надолго затихал.

Жила Фаина как-то неприютно, по-вокзальному. Барахлом особенно не обзаводилась, деньги тратила на книжки да на самое необходимое, у нее можно было взять в долг без отдачи, чем иные и пользовались.

Андрей Петрович был прав, когда говорил о том, что Шаргунова стала на виду. Ее избрали от комсомольской организации в женсовет. Три раза в неделю вечерами она

занималась на курсах ликвидации безграмотности, остальные вечера училась сама, много читала, до закрытия читального зала сидела в городской библиотеке. Одним словом, ее личная жизнь протекала среди людей большую часть суток. В свой уголок она приходила только переночевать. Нередко случалось и так, что ночевала у подруг, а во время шефских концертов агитбригады, в которой она участвовала, там, где заставала ночь, — на отдаленных стройплощадках, в окрестных деревнях, на заготовках леса.

Парни и молодые женатики частенько заглядывались на нее, пробовали заговаривать, провожали с собраний и занятий до дома, но вскоре, видя упорную неподатливость Фаины, постепенно отдалялись.

А жизнь тем временем не стояла на месте. Шло широкое следствие по делу убийства рабкора Григория Быкова. Несколько человек арестовали. Ходили слухи, что в грязном деле замешаны и старожилы Тагила… Было решено увековечить имя бесстрашного экскаваторщика. Станцию узкоколейной дороги, которая вела от рудника до дальнего Уткинского пруда, назвали по фамилии Григория Семеновича — «Быково».

Вышла из печати книга «Были горы Высокой», которую редактировал сам Максим Горький. Среди многочисленных авторов книги стояла фамилия покойного Быкова. На руднике горы Высокой невиданно расширялась добыча. Отсюда и еще с Лебяжинского рудника, с рудника имени Третьего Интернационала руда отправлялась двадцати металлургическим заводам страны. Но уже строились бандажный и мартеновский цехи, возводилась мощная теплоэлектростанция. Все говорили, что очень скоро вся руда, добываемая здесь, потребуется на месте.

Появились первые ударные бригады…

Казалось, совсем недавно побывал в Тагиле Серго Орджоникидзе, а перемены обгоняли стремительное время. В конце февраля 1937 года из центра города до вокзала побежали весело позванивающие вагоны трамвая. В августе Фаина была на митинге в честь пуска первенца Ново-Тагильского металлургического завода — бандажки. Бандажный стан начал выдавать вагонные колеса для железнодорожного транспорта.

И вместе с тем в жизни происходило много такого, что тревожило взрослевшую Фаину Шаргунову.

Черными кругами нависала над молодой социалистической Россией опасность фашистского нападения. Фашизм задушил республиканскую Испанию, начинал затоплять Европу. Ветры с запада несли на всесоюзную стройку кислый пороховой дым.

Кипучие молодые силы не давали Фаине грустить,

задумываться, предаваться унынию. У нее шло время цветных снов.

Первый раз это было так. Она жила у Клементьевых. Леньке купили цветные карандаши. Карапуз, конечно, вряд ли понимал, что это за сокровище. В большой добротной коробке их было двадцать четыре — от черного до белого. Первый раз Фелька узнала, что есть белый карандаш.

Именно с тех пор начались цветные сны. Сначала ей снились карандаши. То маленькие, словно спички, то огромные, словно отесанные и покрашенные в разные цвета бревна… Позднее, когда она познакомилась с первыми книжками, стала ходить в библиотеку, начали сниться полки, нескончаемые, километровые полки, на которых тесными рядами стояли книги с корешками цвета всех луговых и полевых цветов.

Потом ей приснился Кремль, сложенный из светло-малиновых ровных кирпичиков, каким она видела его на открытке, большая Красная площадь, затопленная тысячами парней в черных пиджаках с полосками ослепительно белых воротничков, девушек в синих юбках, белых кофтах, в красных косынках.

Колыхались и взлетали выше облаков венки и букеты цветов, гремела торжественная музыка… А Фелька-Фаина была совсем большая. И это не кому-нибудь, а именно ей улыбался со строгой трибуны Мавзолея товарищ Сталин.

…И расступались толпы, колыхались красные знамена, плакаты, транспаранты и лозунги. А Фаина Шаргунова шла через расступавшееся перед ней множество лиц, одежд и звуков прямо туда, на трибуну Мавзолея. Она еще не знала, то есть во сне знала, а потом, наяву не могла припомнить, за что именно встречал ее товарищ Сталин, жал руку, обнимал, как будто она была не Фелька-Фаина, а маленькая узбечка по имени Мамлакат… Фелька плакала от счастья и смеялась, готовая на все, и люди кругом завидовали и радовались ее счастью. Потом она говорила и, сорвав с головы красную косынку, поднимала ее высоко и приветствовала всех, кто толпился, волновался и кричал внизу…

…Тогда она не знала, что гораздо позднее, более двадцати лет спустя, она увидит повторение этих снов, будет вновь радоваться и благодарить судьбу за столь щедрый подарок, сознавая повзрослевшим умом, что все это лишь красивая мечта.

…В конце тридцать седьмого года ее вызвал следователь. Он выспрашивал ее о том уже далеком для нее времени, когда она жила в няньках у Клементьевых. Оказывается, человек, которого она, несмотря ни на что, уважала в душе, считая идеалом хозяина

и мастерового, тот самый Глеб Иванович Клементьев участвовал в покушении на жизнь рабкора Быкова! Водились за ним, оказывается, кое-какие и другие грешки. Припомнили его участие в деятельности так называемого уральского филиала промпартии.

Что она могла сказать следователю? Ровным счетом ничего! А дома, глубоко задумавшись, она припомнила сон про глухонемую Нельку и Глеба Ивановича, про его разговор о них, неприкаянных сиротах. Но, говорят, никто еще не учил следователей верить снам, которые рассказывают люди на допросах.

А Яша писал письма из Казахстана, Сначала регулярно — каждую неделю, а потом все реже и реже. Но временами письма вдруг начинали приходить ежедневно. Яша то ругал ее за упрямство и несговорчивость, то ласково упрашивал приехать к нему, то советовал учиться и самой добиваться успеха. Фаина отвечала ему не на каждое письмо, но и не так, чтобы уж совсем редко.

Время от времени встречался где-нибудь на людях Василий Георгиевич, отводил в сторонку и проникновенно, словно младшей сестре, говорил:

— Долго ли еще мне мучиться, Фая? Ведь я все хорошо понимаю. Ладно, хочешь учиться — учись. Слова не скажу. Знаю, что активистка ты, вечерами один черт знает где пропадаешь. И это ничего. Пропадай! Я не ревнивый. Не надумала еще — я подожду. Но только ты всегда знай: надо будет — помани. И я приду. Трудно будет — из беды выручу. Помогу в любом деле, если смогу. Ладно?

— Ладно, — смеялась она, — спасибо тебе. Ты — добрый. Это хорошо…

…А теперь он боялся лишний раз зайти в палату вместе с другими врачами, один же не появлялся уже второй месяц. Неужели испугался, что она повиснет у него на шее?

# ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Чем ближе была выписка из больницы, чем лучше становилось общее самочувствие, к Фаине все ближе подходили дни, предшествующие выбору нелегкой доли, который, однако, сам по себе не сулил большой беды. Теперь, когда она начала понемногу ходить по палате и даже иногда выходить в коридор, когда помогала санитаркам кормить тяжелобольных и прибирать помещение, на память приходили предвоенные годы…

Вплоть до начала войны с белофиннами многие не осознавали надвигающейся опасности, а может быть, старались не замечать ее в круговерти повседневной жизни, работы, любви, больших и малых забот.

На исходе тридцать восьмого года умерла мать. На похороны съехались все дети. Грустным делом по провожанию Феклы в последний путь занималась Вера. Герасим Иванович полностью доверился ее хлопотам и заботам. Тем более, что сын его, Венка, уехал учиться в Казань, в университет, и не смог приехать на похороны мачехи…

Марфа, старшая сестра, заметно постарела, располнела, только глаза остались прежними — молодые, горячие. Посмотришь в них, и ничего в жизни не жаль. Марфа как могла помогала Вере. Фельку они совсем освободили от тягостного дела. Она больше сидела с Сенькой, слушала его рассказы про экскаватор, расценки, про мастера…

На кладбище был разметен снег, могила чернела посреди рыжей глины, выброшенной из ямы. Сестры голосили. Сенька кусал губы. Герасим Иванович тер платком сухие глаза и глубоко вздыхал. А Фаине хотелось упасть на крышку гроба, надорвать грудь бабьим воплем, растрепать волосы, до крови расцарапать себе лицо. Но одновременно она ясно понимала, что не сделает этого. Почему не сделает? Она и сама не могла объяснить почему.

Потом все сидели в старом деревенском доме за сдвинутыми столами. Выпили по стопочке горькой, закусили пирогом с рыбой, хлебали огненные щи, приготовленные все той же расторопной Верой. Потом была сладкая рисовая каша, какие-то крендельки и пампушки, кисель… А Фельке все виделась одинокая среди голых бесцветных деревьев тонкая рябинка. Листья ее давно облетели, а рдяные гроздья пламенели, точно костер.

…После встречи Нового года в прокатном цехе было решено ставить новый рольганг. По заводу вывесили призыв: «Комсомольцы, даешь рольганг!» Фаина Шаргунова обратилась с просьбой в партячейку, чтобы послали ее. Работы оказалось очень

много. Разбирали старый рольганг, строители отбойными молотками и ломами крушили бетонные основания. Сварщики, слесари, наладчики не уходили из пролета по двенадцати-четырнадцати часов. Не отставал от остальных и ударный комсомольский сводный отряд, в который зачислили Фаину.

…На границе лета и осени Вере удалось вытащить младшую сестру в лес, за опятами.

Стояли тихие солнечные дни раннего бабьего лета. По временам лицо задевала тонкая паутина. У редких берез еле заметно начали рыжеть верхушки, а перестоявшая трава еще оставалась зеленой. Вера знала замечательные грибные места за полустанком Старатель. Опят там было великое множество, росли трудно, и сестры быстро набрали по большой корзине. Однако Вере грибы не очень нравились, ей хотелось опят поменьше и покрепче, а эти были уже чуть переросшие…

Еще немного, и последние опята упадут, березы пожелтеют и начнут терять листья, а на прогретых солнцем некрутых склонах гор запахнет после первых осенних дождей деревенским предбанником, обитым распаренным веником.

Фаине уже не хотелось уходить из леса. Они с Верой присели у небольшого родничка, поели хлеба с помидорами, вареных яиц и холодного мяса с крупной солью, выпили ломящей зубы водицы… Потом опять долго бродили по высоким желтеющим папоротникам, по заболоченному мокрому малиннику, топтали серые заросли ломкой крапивы. Когда шли по опушке к дому, им изредка попадались красноголовые подосиновики.

По просеке вышли на извилистую лесную дорогу и пошли по ней вниз, к полустанку. По дороге Вера снова начала разговор о жизни. Фаина поначалу отмалчивалась, а потом разговорилась, и они всплакнули о незадачливой ее доле. Оказывалось, что у Яши не хватало решительности приехать и забрать Фаину с собой, он не шел дальше уговоров и просьб в письмах. Василий Георгиевич был явно «не нашего поля ягода», Фаина не желала «рубить дерево не по себе». А другие просто не привлекали ее.

— Я, может, одного из тысячи полюблю. А и полюблю, так не каждому вид покажу… Вот, знаешь, Вера, где-то я читала. Там говорится, что человек без самоличного труда каждый день, ну, труда по призванию, понимаешь, без труда, который нравится, не может быть, не может чувствовать себя вполне свободным, ни от кого не зависящим человеком.

— Больно мудрено ты говоришь. Может быть, и правильно, но я бы так не смогла. Я ведь тоже не сижу без дела. И не так чтобы уж очень ненавистное дело было. Все ведь для своих делаешь, стирка там, готовить надо, ребятня, пеленки, заботы, одному то,

другому другое… А как без этого жить — не представляю. Ты вот опять скажешь, крыльев у тебя нет. Стало быть, не выросли. А ты вот хоть и с крыльями, а смотри — упустишь своего Яшку. Больно уж время-то крутое ныне. Люди поговаривают, что грибов этот год — прямо пропасть. К войне это, говорят…

— Ну, это так, болтовня, при чем тут грибы? А война и без грибов должна быть. Будет война обязательно, да не скоро. Попробуй-ка к нам сунься. Вон японцы лезли у Хасана. Получили по зубам. У Халхин-Гола полезли — тоже дали им отпор наши соколы. Теперь неповадно будет. А с Германией у нас мир на двадцать лет. Фашисты тоже не без головы — лезть на нас. Это им не Испания… А насчет Яши я тебе так скажу. Хороший он парень, и судьбу мне занозил, но, знаешь, нет в нем такого порыва, что ли, отчаянности, рискованности… Все у него по полочкам разложено. Вроде и свой парень, да, видать, много белого хлеба у мамочки ел. Боится на черный перейти…

— Зря ты обижаешь парня. Не знаю, какой принц достанется…

И все же перед Новым годом Фаина решила съездить, посмотреть, как там поживает в Казахстане Яша, как он там работает, где и с кем живет, кто у него друзья-подруги? Она написала Яше, и тот немедленно прислал телеграмму, что ждет, что любит, что будет встречать.

Но встреча, которую оба так ждали, не состоялась. Поздней осенью началась война с белофиннами.

Из газет, из писем фронтовиков в лексикон уральцев проникли необычные, тревожащие слова «снайперы-кукушки», «линия Маннергейма».

* * *

Льва Исаевича Гринберга, парторга ЦК партии на заводе, высокого и грузного, начавшего бурно седеть, Фаина до встречи знала плохо. И вот она у него в кабинете, вместе с другими, кто был вызван на тот день. Он медленно ходил из угла в угол по не очень обширному кабинету. Вокруг маленького стола сидели начальники цехов, профсоюзные руководители, секретари парторганизаций цехов. За длинным столом на разномастных стульях в два ряда разместились мастера и рабочие-активисты.

Гринберг хмурил брови, крупное лицо с глазами навыкате было серым от усталости. Зеленая суконная гимнастерка с отложным воротником, широкий ремень, галифе, ярко начищенные сапоги. Депутатский значок алел над клапаном

левого кармана.

— Товарищ Шаргунова, объясните, пожалуйста, нам, почему вы решили проситься на работу к доменной печи? По-моему, никто из сидящих здесь не припомнит, чтобы женщина стояла у горна, — Гринберг повел рукой в сторону сидящих за маленьким столом. — И потом, разве вы плохо работаете в механическом цехе?

— Это не прихоть, товарищ Гринберг, — тихо ответила Фаина. — Я решила пойти туда, где сейчас труднее всего. Прошу поставить меня на вторую домну. Там сейчас прорыв. Мужики оттуда бегут…

— А что ты умеешь делать? — грубовато и насмешливо спросил начальник доменного цеха Севастьянов.

— Подождите, товарищ Севастьянов, — Гринберг нетерпеливо махнул рукой. — Вас еще спросим. Василий Евстафьевич, вы что-то хотели сказать?

— Нечего мне особенно говорить. Девка сама не знает, что ей надо. Замуж бы ее отдать…

Прошелестел смех, кто-то тихонько присвистнул.

— Может быть, обойдемся без неуместных шуток. — Гринберг сжал губы, потрогал волосы.

— Мы ее двум профессиям обучили. Дело свое она знает. Да куда ей к домне! Женщина она все-таки…

— Нет, Василий Евстафьевич, неправильно вы говорите, — Фаина опять встала за столом. — «Женщина, женщина»! Да при чем тут это? Токарем или строгалем любой мальчишка или девчонка робить сможет. А партия призвала нас осваивать мужские профессии. Мужские! Вот и поставьте меня к домне, научите, покажите, что надо. Не бойтесь, работать стану не хуже других…

— Вы садитесь. Кто еще хочет высказаться?

Поднялся Семен Иванович Рачков, председатель профкома.

— Мы ее, товарищ Гринберг, уговаривали в мартен идти — не желает. Ведь в мартене чуть полегше. Вот я и говорю. А она ни в какую! Нет — и как отрезала. Ставьте, говорит, к домне… А у мартена женщины уже работали. Вон Зикеева в Магнитке…

— Да-а. Ну что ж, закроем прения. Идите, товарищ Шаргунова, работайте пока на старом месте. Окончательное решение вам сообщат.

— Я буду настаивать, товарищ Гринберг, имейте в виду. Я в «Правду» напишу!

— Мы вам не отказываем. Ждите. Все пока, товарищ Шаргунова.

В механическом цехе на нее коршуном налетел Андрей

Петрович.

— Ты что это, девка, вовсе ошелапутела? Эх, ремня бы тебе… Все-то ей мало, все-то ей чего-то не хватает. Да мы тебе три станка, ежли тебе трудностей захотелось, в ряд поставим. Успевай бегай от одного к другому… Эка она как, на до-омну-у! Да ты знаешь ли, что это такое?

— Да не кричите вы все на меня! — не на шутку рассердилась Фаина. — Сказала, что на домну пойду, значит — пойду. И никто мне в этом не указ, понятно?

Андрей Петрович опустил голову, плечи ссутулились, голос осекся.

— Я тебе, Фелька, заместо отца хотел сказать… Замуж тебе бы надо, и то давно пора, а ты в невестки к железной свекровке норовишь попасть… Да от той работы и женой никогда не станешь. Съест она тебя заживо, со свету сведет…

— Прости меня, Андрей Петрович, дура я, погорячилась. Человека ты из меня сделал. Спасибо тебе и поклон земной… Только, видать, судьба моя такая. Ты уж не казнись. Не могу я по-иному.

Андрей Петрович тяжело вздохнул и поплелся к своему станку.

# *ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ*

…Незаметно наступил и покатился вперед сороковой год. К началу весны стало известно, что война с Финляндией скоро закончится. Но близкая победа почему-то мало кого радовала.

Становилось очевидным, что надвигаются большие и грозные события.

В далекий уральский город доходили смутным слухи о напряженной обстановке в пограничных городах.

На заводах и в учреждениях проходили, занятия по противовоздушной и противохимической обороне, люди учились пользоваться противогазом, затемнять окна. Появились плакаты о бдительности. «Болтун — находка для шпиона!» — было написано на одном из них. Все стали как-то серьезнее, собраннее.

* * *

А Фаина все ждала разрешения на перевод в доменный цех. Работала она, как и прежде, за двоих. Была членом заводского комитета комсомола, активно работала в профсоюзе, писала в газету. Одним словом — дел было немало, но все казалось, что самое главное и большое — где-то еще впереди. Надвигался праздник — Международный женский день.

В марте на Урале нередко еще свирепствуют морозные ветры, выпадают обильные снега. Но по утрам уже веселее посматривает солнце, под скатами крыш начинают появляться первые сосульки, громче чирикают пережившие зиму воробьи… В клубе металлургов готовили большую праздничную программу: хоровые песни, спектакль, вернее, отрывки из разных спектаклей, из «Бесприданницы», из «Любови Яровой», скетчи, частушки, отдельные цирковые номера. Перед этим запланировано было награждение женщин-стахановок.

И вот этот день наступил. К вечеру клуб был переполнен. Кругом гремела музыка, помещения залиты светом. Перед награждением с коротким докладом выступил сменивший Гринберга новый парторг ЦК на заводе Юрий Сергеевич Казанцев. Это был молодой еще человек в полувоенной форме. Большую голову на короткой шее венчал энергичный, входящий в моду ежик.

Фаине преподнесли флакон дорогих духов, томик Мопассана и отрез на шелковое платье. Взволнованная, она положила подарки на край стола президиума и подошла к трибуне. В зале

зашумели, задвигались, долго не смолкали аплодисменты.

Когда стихло, Фаина сказала:

— Вы все, конечно, читали, что в Магнитогорске товарищ Зикеева освоила профессию сталевара, почти год работала на мартене. Мне про нее Галима написала, а Галиму я знаю, росла вместе с ней в деревне. Она пишет, что такой человек, как Зикеева, не подкачает. Но она замужем и сейчас ждет ребенка, поэтому на мартене работать не может. Я хотела вызвать ее на соревнование, но… Одним словом, в ответ на призыв нашей партии, — Фаина повысила голос, и он зазвенел, — в ответ на теплое признание моих… ну, успехов, что ли, я обязуюсь здесь освоить профессию горнового и прошу перевести в доменный цех.

В зале наступила тишина. Слышно стало, как где-то за стеной, в дальней комнате, настраивают скрипку. Потом кто-то захлопал, закричал… Зал загремел такими аплодисментами, что начала раскачиваться люстра.

Фаина все стояла на трибуне, побледнев от волнения и собственной решимости. Ведь разрешения-то идти на домну она не получила! Но отступать теперь некуда. Она повернулась к столу президиума и, обращаясь к Казанцеву, сказала:

— Товарищ секретарь, прошу разрешить мне работать на домне. Все равно я от своего не отступлюсь.

— Раз сама себе разрешила, думаю, что мы против не будем, — громко ответил Казанцев.

Остальное Фаина помнила смутно. Машинально делала все, что нужно было делать по ходу вечера, но лихорадочно, боясь сорваться, допустить ошибку, показаться хоть в чем-то смешной…

В перерыве подошел Василий Георгиевич, выразил восхищение, пожал руку. Смотрел как-то странно, не как всегда, а профессионально, что ли, по-врачебному, изучающе. Это одновременно понравилось Фаине и насторожило ее. «Наверное, за взбалмошную меня считает», — мелькнула мысль. Мелькнула и пропала. Не умела она плохо думать о людях.

* * *

…Полгода читала книги по доменному делу. Сейчас на память может рассказать о том, как с колошника загружается в объемистое тело домны слоями руда и кокс, другие необходимые для плавки компоненты, как адское пламя день и ночь бурлит в горне, превращая тяжелые камни руды в расплавленный жидкий чугун. Зримо представляла, как постепенно оседают в домне слои руды и кокса, как по гигантским трубам воздуховода с гулом

проносятся тысячи кубометров горячего воздуха, как течет вода сверху вниз по охлаждающей тело домны рубашке, как всплывает на чугуне, подобно накипи в кастрюле с варящимся супом, слой легкого пузырящегося шлака… Сотни раз видела, как ночами озаряется доменный двор во время выпуска шлака, как это зарево становится почти белым — это после слива шлака пробивается летка, и на волю вырывается тугая струя готового чугуна, устремляясь по канаве к литейному двору, в большие ковши на колесах… А на колошник домны тем временем не переставая подаются по канатной трассе в вагонетках очередные порции руды и кокса.

Видела себя у горна, куда ее еще ни разу не подпускали, видела себя в широкополой шляпе, в куртке и штанах из толстого серого сукна, в грубых, двойного плетения лаптях… Впрочем, кажется, горновому полагаются толстые валенки… А в руке у нее небольшое синее стеклышко, потому что нестерпимо больно заглядывать в крохотное окошечко над самым бурлящим металлом, глазам гораздо больнее, чем когда смотришь на солнце. А в другой руке — конечно же! — длинная тяжелая пика для пробивания глиняной запекшейся пробки, непрочной перегородки между кипящим металлом и людьми, ждущими этот металл.

Широко размахивается и бьет тяжеленной пикой в звенящую глину, сыплются вниз ошметки, пыль… Она бьет еще раз, еще и еще. И вот — зарево! Радостные, восторженные лица бригады, снопы огненных искр, почти ощутимая тяжесть чугунной струи, прогибающей дно канавы…

Фаине весело. Самой себе она кажется молодой и сильной, как та женщина на цветном плакате, посвященном первым женщинам-сталеварам, с веселыми и задорными словами: «Раньше щи варила, а теперь вот сталь варю!»

А кто же не знает, что сталь не бывает без чугуна, а чугун никогда еще не выплавляла ни одна женщина в мире.

* * *

…Кто работал до войны на домне, тому известно, сколько приходилось делать руками. Даже летку после выпуска чугуна приходилось заделывать глиной вручную. Первые пушки, «стреляющие» глиной специального замеса, были несовершенны и маломощны. Тяжелая кувалда, пришедшая сюда прямо из кузниц петровских времен, полуласково именуемая балдой, теперь очень редко бывает в руках доменщиков. А перед войной без нее нельзя

было обойтись ни одной смене. Горновой и подручные должны были, кроме того, виртуозно обращаться с ломом и уже знакомой Фаине совковой лопатой.

— Эх, не бабьего это ума дело! — досадливо крякнув, сказал прямо в лицо Фаине пожилой горновой, когда вышла она в первую свою смену к домне. Но Фаина ответила ему:

— Ты рассуди-ко, Лукоян Кузьмич, не дай бог, грянет война. Мужики на фронт уйдут, на передовую, все вот эти ребята — в армию… Скажи мне, кто тогда здесь за вас управляться будет? Неужто погасишь домну?

Федосеев махнул рукой и отошел. Издалека пробасил:

— Что ты меня агитируешь, не маленький ведь… — Помедлив для солидности, сменил гнев на милость. — Бери свою спецовку, вон в ящике. На первых порах смотри, привыкай, делай, что скажут. Да и припоминай все, что к чему.

— Ты мне работу давай, Лукоян Кузьмич, я не на показ сюда пришла, — обиженно попросила она.

— А чего ее давать — вон она, — огрызнулся Федосеев. — Иди с Кольшей песок готовь. Да лопату не забудь. Умеешь держать лопату-то?

— Как-нибудь не уроню, не безрукая.

Подняла лопату и пошла в угол к корытам, где заготовлены песок и глина, известь, цемент и еще многое другое, без чего здесь никак нельзя. За спиной кто-то что-то сказал, остальные

засмеялись. Сама знала, что без этого не обойдется, поэтому не обиделась, не рассердилась. Не то еще придется услышать.

В первую смену на печи перестаралась. Боялась — засмеют, прогонят, заставят делать такое, чего никто не делает. Зато детской забавой показалась прежняя работа, хотя бы и на двух станках. От усталости дрожали колени, ломило плечи, виски давил постоянный гул воздуходувки, першило в горле…

Понимала, что скоро обвыкнется, все будет хорошо, надо только найти определенный ритм, не суетиться, не делать лишних движений, держать себя с достоинством, по-рабочему. Ей и в голову не приходило отказаться, пока не поздно, попроситься на прежнюю работу, где она уже прикипела ко всякой мелочи и могла действовать с закрытыми глазами.

Дома заставила себя тщательно умыться, поесть и почти без сил свалилась на постель. Спала крепко. Цветных снов не было…

У доменной печи она никогда не оставалась без дела. Во время коротких перекуров между выпусками чугуна и обычной работой по двору она наводила порядок: стаскивала в одно место лопаты, а то брала метлу и подметала по обеим сторонам канавы, предварительно разбрызгав там ведра два-три воды, чтобы не очень пылить. Когда выдавали чугун, старалась держаться поближе к летке, а если это не удавалось, то стояла неподалеку от канавы, закрывая лицо рукавицей от нестерпимого жара, завороженно смотрела на огненный ручей, стекающий вниз, в толстостенный ковш на колесах.

Потом началась обычная работа: надо было приводить в порядок все хозяйство к следующему выпуску, следить, чтобы все было на месте. А как обрадовалась, как запело сердце, когда месяца через четыре после начала работы Федосеев при всех сказал:

— Ты, Кольша, не мельтеши тут. Поучись у Фаины, как надо. Если хочешь быть доменщиком, шагай реже. Понял?

Поняла, что Кольша обиделся, потому что засопел носом, избегал встречаться с ней взглядом…

…Сейчас, лежа в палате, Фаина вспомнила, как Кольша недавно приходил в больницу, приносил гостинцы, как робко сидел на краешке стула в маленьком белом халатике, как восхищенно и вместе с тем жалостливо смотрел на нее… А посмотреть со стороны, совсем мужчиной стал.

Усмехнулась про себя, закрыла глаза.

# *ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ*

Затяжной, ненастной была весна одна тысяча девятьсот сорок первого года. Почти весь май шел холодный дождь, нередко вперемешку со снегом, на улицах было неуютно и слякотно, небо тяжело и хмуро висело над городом, ближние горы были завешены изморосью.

Фаина каждое утро слушала радио, но как-то не верилось, что где-то, совсем недалеко, в соседних областях стоит сухая и жаркая погода, хорошо подходят хлеба, на юге зреет богатый урожай овощей и фруктов. Она шла утрами мимо тяжелых, набухших сыростью деревьев. Ветер стряхивал с них холодные крупные капли, гнал по небу сплошные серые тучи.

Несмотря на неприветливую погоду, люди в городе были веселые. Усталые, но довольные тем, что стройка повсеместно двигалась, что каждый день приносил что-нибудь новое…

* * *

Как и прежде, Фаина старалась работать лучше, постепенно осваиваясь на новом месте. К ней уже привыкли настолько, что в крутую минуту обращались как с равной. Только тягостно было привыкать к несколько вольному обращению с русским языком. Но она смирилась, как мирятся с необходимым злом вроде горького лекарства, и обязательной «балды». Часто ругала себя за то, что втихомолку завидовала тем, кто работает на больших, новых печах. Само собой разумеющимся считалось, что со временем большая домна будет оснащена новой техникой.

Встречалась изредка на слетах с прославленными доменщиками и горновыми, недавно сменившими отвес и мастерок строителя на места у леток. Ей нравились эти сильные, немногословные, твердо знающие себе цену люди.

…К концу мая погода стала лучше. Буйно пошла в рост зелень, подсохла грязь, в загустевшей листве деревьев защебетала птичья живность. Однажды в воскресенье забежал Семен, брат. Был он навеселе, одет в военное. Их отправляли на лето в лагерь, на переподготовку. Семена зачислили в артиллерийскую часть. Он обнял сестру, поцеловал, шлепнул по крепкой спине.

— Эх, не был бы я твоим братом, не дал бы я тебе в старых девках бегать… Фельша, ты, Фельша, разнесчастная твоя доля!

— Много ты понимаешь! — покраснев и скрывая обиду, ответила она. — Помолчал бы лучше, жених! Давно ли я тебя

крапивой драла. Я и сейчас могу, не посмотрю, что старшой.

— Это ты можешь, это уж точно. А где же все-таки женишок твой заблудился, а? Аль скрываешь его от добрых людей.

— Хватит об этом. Ты вот мне скажи, что у вас там говорят: скоро будет война?

— Откуда мне знать? А и знал бы, да не сказал. Военная тайна. Во как! А ты смотри, как бы с мужиками-то сама мужиком не стала, — он засмеялся. — Гляди, и усы отрастут.

Выпили вина, потом пили чай, смеялись, вспоминали детство, заботливую, чуткую к порывам детской души мать. Потом ходили по городу, и Семен с уважением посматривал на сестру. Множество разных людей здоровались с ней, иные останавливались, поглядывали на него: кто же, мол, это идет с Шаргуновой? Другие что-то спрашивали, интересовались своими делами. А она одним еле кивала головой, другим с восторгом трясла руки, охотно говорила или деловито и коротко отвечала на вопросы.

Семен понял, что его младшая сестра отдалилась от той задиристой и беспокойной девчушки, которую он знал и к которой относился с некоторым снисхождением. Она теперь взрослый, самостоятельный человек, но, по его понятиям, совершенно одинока и неприкаянна. И все это тревожило его, а под хмельком вызывало острую жалость…

Ночью они распрощались.

* * *

Бывает, когда идешь в темноте и ждешь какой-то неожиданности, готовый ко всему, и все же вздрагиваешь, когда эта неожиданность приключается. Так случилось и в тот памятный день на всей советской земле.

Хотя люди сознавали, что смертельная схватка неизбежна, все же всех потрясло, до глубины души короткое слово — война. В нем было что-то от горя гореванного, от пожара и глада, от мора и погибели…

Война! Фаина не успевала следить за мелькавшими событиями, подвигами, именами уже геройски погибших, именами, которые потом станут известны миру и потомству…

Сгорел, врезавшись на самолете в немецкую автоколонну, так и не сбив пылающий факел с машины, Николай Гастелло. В ночном московском небе тараном разнес вдребезги вражеский бомбардировщик, а затем в одном из боев погиб Виктор Талалихин. На ближних подступах к Москве взорвали себя

гранатами пехотинцы генерала Панфилова, бросившиеся под танки гитлеровцев, рвавшихся к столице. Гибли первые десятки и сотни тысяч наших людей, женщины становились вдовами, а дети — сиротами.

Именно в те дни раздобыла себе Фаина красноармейскую шинель и дала себе клятву — не снимать ее вплоть до самой победы. Потому что не сомневалась в победе. Только не знала в ту пору, что шинель сгорит от горячего чугуна.

В сердце, в мозгу Фаины Шаргуновой жил, не давал покоя голос, который с непонятным вздохом облегчения сказал ей в конце июня сорок первого:

— Ну, Фаина, пора. Твой час! Принимай печь.

Кто именно сказал ей эти слова? Но разве имело какое-нибудь значение теперь, кто сказал? Разве это был не сам голос времени? И она вздохнула с облегчением, поняв, что пришел ее час, и надо быть достойной этого часа.

* * *

Теперь точно уже не вспомнить, как она попала на эту бабью, что ли, вечеринку. Подвыпив, пели «Рябинушку».

Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Век одной качаться…

Ольга обняла Фаину и заплакала. Вот уже третий месяц Ольга не получала писем от мужа-фронтовика.

— Хорошо тебе, Фелька, одна ты! — кричала она почти в голос. — А мой-то не пи-ише-ет. Эх!.. Поди, там с другой связался.

— Что ты, Ольга, опомнись, — одернула ее подружка Лида. — По краю смерти ходит твой Федор… Жив ли еще?

— Эх, вот она — жизня! — кричала Ольга. — Кому война, кому забавушка одна…

Ольга была та самая Оля — красивые коровьи глаза. Она тоже давно жила в городе. Теперь уже отцветала, располнела, но мужчины липли к ней, как мухи к сладкой отраве. Фаине известно было, что с мужем Ольга жила не очень-то дружно, однако росли у них двое детей. Работала Ольга нормировщицей в конторе, как и ее подружка Лида. Были они всегда вместе, вместе и теперь гуляли.

Ольга подлила вина Фаине и себе, проливая на клеенку красную липкую жидкость.

— Давай выпьем с тобой, Фаина, за горькую нашу бабью долю. Хорошо, что пришла, не побрезговала нами…

— Чего городишь-то? Какая такая горькая доля? Гордиться тебе надо. Федор твой Родину защищает, воюет, а ты — «горькая доля».

Ольга вдруг обиделась. Слезы у нее высохли, лицо зло перекосилось.

— Конечно, чего тебе печалиться? Одна, небось, не пропадешь… Эх! До чего же ты знаменитая стала, Фелька. Где нам-то до тебя! Твой портрет вон все газеты рисуют, как раскрасавицу какую… А мы — люди простые, незаметные, некрасивые… Грешные мы, видать, вот оно что. Эх! А ты у нас вроде святой! Монашка!.. Ха-ха-ха! Днем монашишь…

— Перестань, Ольга, — Лида подошла к ним и увела от Фаины подругу к себе, на другой конец стола. Ольга выпила рюмку, ткнулась лицом в ладошки и беззвучно заплакала.

Фаина посидела еще немного, поблагодарила за угощение и ушла.

Да, Ольга сказала правду. После того как Фаина начала работать старшим горновым, ее портрет обошел многие центральные газеты. Корреспонденты писали по-разному: одни выпячивали сам факт — дескать, заменила мужчину, ушедшего на фронт. Другие насыщали свои произведения восторженными восклицаниями: героическая женщина, дочь своего времени и т. п.

А Лукьян Кузьмич, между прочим, ушел вовсе не на фронт. Его перевели на другую домну, где дела шли из рук вон плохо. Бежали люди с той домны куда глаза глядят.

К работе Шаргунова относилась истово, к доменной печи обращалась с почтением, как к живому существу. Приходя утром на полусуточную изнуряющую смену, мысленно произносила:

— Здравствуй, железная свекровушка. Не подведи, милая…

На третий день войны в городской газете Магнитогорска было опубликовано письмо Зикеевой, муж которой ушел на фронт. Той самой Зикеевой, о которой так много писала ей Галима. Галима, научившая Фельку в раннем детстве любить рдяные ягоды рябины, любить их всю жизнь. Вскоре письмо Зикеевой перепечатали многие газеты. Она писала:

> «В этот час тяжелых испытаний для страны снова встаю на вахту к мартеновской печи. Пусть сталь, которую я варю, могучей лавиной обрушится на голову

зарвавшихся фашистских разбойников. Я призываю женщин Магнитки и всех женщин Советского Союза идти на производство. Нам надо заменить наших мужей и товарищей, идущих в ряды доблестной Красной Армии».

# *ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ*

Пришло и такое время, когда главный врач Михаил Васильевич Дорогавцев решил, что Фаине можно читать письма, которые шли с фронта в ее адрес и задерживались сначала в регистратуре, а потом на столе главврача.

«Комсомольская правда» и другие центральные, да и местные газеты много писали о ней. Эти заметки, очерки, статьи, фотографии перепечатывались и во фронтовых газетах. На письмах-треугольниках, на конвертах были обратные адреса, состоящие из номера военно-полевой почты да фамилий отправителей. Нередко в конвертах были фотографии. Маленькие, любительские, не очень отчетливые карточки. Матрос. Пехотинец. Танкист. Летчик.

Она читала письма одно за другим.

«Письмо знатной уральской стахановке Фаине Шаргуновой. От комсомольского коллектива N-ской части, полевая почта 06757.

Дорогая тов. Шаргунова!

Шлем Вам фронтовой комсомольский привет. Мы знаем, что Вы работаете старшим горновым… Вами гордятся все уральцы и все металлурги Советского Союза. Гордимся и мы, фронтовики, Вашей работой по выплавке металла для производства танков.

На этих танках мы будем громить фашистских захватчиков до полного уничтожения.

Желаем Вам еще наилучших успехов в Вашей работе и всему вашему коллективу от всего комсомольского коллектива нашей части. Мы, фронтовики, прочитав Ваше письмо, хотим иметь тесную связь между Вами и нами. Ждем от Вас ответа на наше письмо.

*С фронтовым приветом — комсорг батальона орденоносец Ржанников.*

*Комсомольцы: орденоносец Ечелян, Ашихмин, Чеботарев, Гуляев и Краснов».*

«Привет с ДВКА! Здравствуй, Фаина!

Просматривая очередной номер газеты «Комсомольская правда», мы увидели фотоснимок, на котором Вы были засняты в момент работы.

Мы, земляки-тагильчане, находимся на защите дальневосточных границ, гордимся Вами, славной патриоткой нашей Родины. Вы в дни Великой Отечественной войны освоили профессию металлурга и даете десятки тонн сверхпланового металла для ускорения победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Мы, находясь на защите границ цветущего Дальнего Востока, прилагаем все силы для быстрейшего разгрома врага.

Желаем вам, Фаина, успешной работы, выплавки еще больше сверхплановой стали для наших заводов, которые дадут для фронта еще больше танков, самолетов, пулеметов, пушек, винтовок. Возможно, найдете минуту свободного времени написать пару слов.

*С товарищеским приветом — млад. лейтенант Шершнев, лейтенант Аристов. Полевая почта 64272. Литер-2».*

«Привет с далекого Севера! В далекий тыл девушке Фане Шаргуновой!

Из газеты «Комсомольская правда» мы, краснофлотцы далекого Севера, узнали о Вашем самоотверженном труде на производстве. Мы горды такими девушками, какой является Фаня Шаргунова, — сказали наши краснофлотцы, когда узнали, что Вы отдаете все силы для разгрома всеми ненавистного врага. Долго рассматривали Вашу фотографию в газете.

Фаня, я думаю, что Вы не будете возражать против того, чтобы установить и поддерживать письменную связь с краснофлотцами. Если у Вас есть муж или друг, то он должен гордиться такой боевой подругой. Я думаю, что мое письмо дойдет до Вас, хотя у меня нет Вашего точного адреса. Вы в свою очередь постарайтесь на это письмо ответить. Напишите о своем трудовом патриотизме, пишите, как молодежь проводит время и как работают другие девушки. Я не сомневаюсь в том, что у Вас есть такие же боевые подруги, как и Вы, пусть и они напишут.

Фаня, не скромничайте, напишите о себе, я это имею в виду потому, что когда люди проявляют героизм, то они обычно говорят: «Я ничего особенного не сделал». Напишите Ваш возраст. От себя особо писать много нечего. Могу лишь сказать только одно, что те

коммуникации, которые охраняют краснофлотцы-североморцы, для врага недоступны.

Привет девушкам трудового фронта. Пишите ответ, жду.

*С приветом — А. Малинин.*

*Мой адрес: 1163, Полевая почта, часть 46100, Малинину Анатолию Ильичу».*

Она вспомнила, как читали такие же письма, адресованные ей, во время приема в партию. Как сказал Казанцев, что письма эти — лучшая рекомендация молодой большевичке. И что работа ее — самым лучшим образом пройденный кандидатский стаж.

Кажется, совсем недавно приняли ее в партию. Но несчастный случай отодвинул тот день, как будто был он в другой эпохе. Пребывание в больнице, бесчисленные процедуры, операции, перевязки — все это как бы подвело черту под жизнью, которая была до больницы. За чертой начнется новая жизнь, не похожая на ту, что прошла. Какой же она будет, эта иная жизнь?..

…В один из дней на исходе жестокой уральской зимы Фаина пришла на очередную смену в восемь часов вечера. Впереди были две плавки, подготовка третьей, половина суток напряженного, тяжелого труда.

Неподалеку от литейной канавы, в прогоревшем жестяном ведре чадил мазутный костерок. Возле сидели трое рабочих, курили, односложно разговаривали, а больше молча смотрели в огонь. В сторонке от горна, пригревшись в теплом уголке, прямо на голом земляном полу спал один из трудармейцев, высокий сухощавый Прохор Миронов. Около него дымился махорочный окурок. Видимо, присел Миронов отдохнуть и, разморенный теплом, уснул.

Фаина потрясла его за плечо. Прохор тяжело повернулся, открыл глаза, невидяще глянул на нее. В темноте было видно: лицо его покрыто пепельно-серым налетом. Она уже стала привыкать к таким лицам хронически недоедавших людей.

— Ты в какую смену? — спросила Фаина.

— Я? Да как же, неужто забыла? С тобой я…

— Чего же ты заснул?

— Пригрелся, видать…

— Нельзя сейчас спать. Не можешь работать, иди в санчасть. Может, справку дадут.

— Какая там справка! Работать надо, некогда по врачам ходить.

Он медленно поднялся и пошел к ведру, где горел мазутный

костерок. Посмотрела вслед и пошла принимать печь.

К концу второй плавки ее позвали к корыту с водой. Там, у борта, лежал Прохор без сознания. Лицо его покрыла смертельная бледность. Она испугалась — не умер ли? — и побежала звонить врачу. Вскоре прибежали две санитарки и старичок-фельдшер. Он расстегнул куртку Прохора, затем рубаху и приложил к сердцу черную трубку.

— Что с ним? — стараясь говорить спокойно, спросила Фаина.

Фельдшер положил трубку в карман, поднялся с колен, жестом приказал санитаркам взять Прохора на носилки и только потом ответил:

— Все она же, товарищ Шаргунова, все она. Госпожа дистрофия. Крайнее истощение всего организма в результате длительного недостаточного питания. Впрочем, не волнуйтесь, ничего страшного. Полежит, покормим его, и станет он лучше нового…

Да, она уже хорошо знала, что такое дистрофия. На заводе был введен дополнительный паек для особо ослабевших. Кратко этот паек именовался удепе — усиленное дополнительное питание.

С середины тысяча девятьсот сорок второго года, когда стала остро чувствоваться нехватка питания, был введен поощрительный паек для успешно выполнявших нормы. Давали его время от времени, нерегулярно. В паек для рабочего-стахановца входило, например, двести граммов сливочного масла, полкило конфет или сахара, кусок мыла, пачка махорки и коробок спичек. Если выпадало счастье получить такой паек в один из дней два раза в месяц, день считался настоящим праздником. Паек бережно относили домой, там его ждала вся семья.

Лишь к концу следующего, тысяча девятьсот сорок третьего года паек немного увеличили, но и тогда его давали нерегулярно.

Даже высохшее от голода, полегчавшее тело Прохора санитарки не могли нести: не было сил. Передние ручки взяла Фаина, вторые какой-то мальчишка, вчерашний ремесленник, и санитарка.

Не могла уйти из медпункта, пока не убедилась, что Прохор пришел в себя. Только тогда вспомнила Фаина, что должна быть на заседании цехового комитета профсоюза. Она побежала в красный уголок.

Председательница цехкома Лидия Ивановна, подружка Оли, работала старшим нормировщиком. Она любила поговорить, и если надо было успокоить жалобщика или пропесочить

прогульщика, не было человека более ретивого. Лидия Ивановна строго посмотрела в сторону Фаины и громко сказала:

— Что же вы, товарищ Шаргунова, считаете себя вправе опаздывать? Чем вы объясните свое пренебрежительное отношение к остальным? Или вы считаете, что знатной стахановке все позволено? Зазнайство никому не к лицу…

Еще не пришедшую в себя Фаину эти слова совершенно выбили из колеи. Она покраснела и, не дав закончить Лидии Ивановне обвинительную тираду, крикнула:

— Перестаньте, вы!.. Там люди с голоду умирают, а вы тут… — Фаина смешалась, но замолчать уже не могла. — Вы бы хоть спросили, почему я опоздала.

— Вот видите, товарищи! Я же и виновата. Я этого так не оставлю…

— Да ладно, чего там… — Фаина примиряюще махнула рукой, тяжело опустилась на край скамейки и тихо добавила: — Извините, товарищи.

— Нет, не извиняем. Будьте добры, объясните членам цехкома, почему вы опоздали?! — не унималась Лидия Ивановна.

Фаина встала. Лицо горело, она с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Этого только не хватало! Тихо, но внятно ответила:

— Потому я опоздала, Лидия Ивановна, потому что после смены еще дела сдать надо. Это ведь у вас просто. Закрыла рот, и можно домой идти.

В красном уголке сдержанно засмеялись. Лидия Ивановна загремела карандашом по стакану.

# *ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ*

Если когда-нибудь будет поставлен памятник героям тыла, то одной из главных фигур должен стать подросток на перевернутом ящике у станка. Это они, вчерашние дети, заменили на заводах и фабриках отцов и братьев, ушедших на фронт.

К домнам и мартенам в первые месяцы войны вернулись и пенсионеры. Семен Семенович Дружинин сорок пять лет стоял у горна. После выхода на пенсию отдыхал три года, а теперь опять пришел к доменной печи. И не он один. И, конечно, незабываемую роль сыграли женщины. Женщины, подростки и старики в первый военный год пустили эвакуированный в Тагил с Ленинградского завода имени Кирова прокатный стан, зажгли еще одну мартеновскую печь, наладили дробильно-обогатительную фабрику на Лебяжинском руднике. Здесь, в старом Тагиле, впервые на Урале из местного сырья начали выдавать сталеразливочный припас. Он пошел с только что построенного шамотного завода.

Для легирования стали доменщики научились выплавлять феррохром. Они же освоили выплавку ферросилиция.

По призыву Фаины Шаргуновой, опубликованному в городской газете, все женщины — служащие заводоуправления — написали заявление, что считают себя добровольно мобилизованными и будут выполнять любую работу в свободное от основной смены время — по первому требованию дирекции.

В далекий Казахстан она писала редкие письма. Теперь они были суше, короче. Только самое необходимое сообщала.

«Здравствуй, дорогой мой далекий Яша! Опять пишу тебе о всем новом.

С середины сорок второго года у нас организовали комсомольско-молодежные фронтовые бригады. Наверное, ты об этом читал. Молодой сталевар Виктор Есин призвал трудиться ударно, по-фронтовому. Бригады ежедневно дают по нескольку тонн сверхплановой стали для фронта, для победы. Есин, Жиронкин, Галганов, Гусаров, Шалимов стали теперь известны всему городу. И не только нашему городу.

В середине октября пошел агломерат горы Высокой. Там многое изменилось — и не узнаешь. Всего полгода ушло на его стройку. По восемь думпкаров вместо трех начал возить у нас машинист Леонид Ломоносов. На рудниках его примеру последовали все машинисты…»

* * *

Шел солнечный конец ноября. После влажных, пронизывающих ветров, знобящей измороси, ледяного оцепенения, ввергающего все живое в длительную спячку, наступила пора короткого предзимнего вёдра. На окраинах Тагила, там, куда не доносилась гарь заводских труб, снег ослепительно блестел. Ветра совершенно не было. Даже в поношенной шинели в пригретых солнышком закоулках было тепло. Хотелось расстегнуть пуговицы, дышать полной грудью.

В один из таких дней Фаину выписали из больницы. На центральной улице старого города, в большом коммунальном доме, для нее приготовили однокомнатную квартиру. Это было кстати. В комнате стояла заправленная по-армейски кровать, тумбочка, этажерка для книжек, стол и несколько стульев. Кухонька была совершенно отдельно, как и ванная. Лучшего сейчас нельзя было придумать.

Впереди — целый месяц до выхода на работу. Кроме того, ей дали талоны в заводскую векаэс — так называлась столовая для высшего командного состава завода.

По утрам слушала сводки Совинформбюро, потом прибиралась, бежала в поликлинику, на перевязки и процедуры. Вечерами ходила в клуб металлургов, это недалеко. Приезжий из Свердловска скульптор лепил из глины ее портрет. Позировать было непривычно и как-то стыдно. Утешало то, что скульптор сам недавно вышел из госпиталя, после ранения долго лечился. Противопехотная мина оторвала ему ступню. Он никак не мог привыкнуть к протезу, сильно хромал. Звали его Борис Осипович Ланской. Небольшого роста, плечистый, быстрый в движениях, он много рассказывал о фронтовых событиях, об искусстве, живописи, литературе. Слушать его было интересно. Иногда вместе обсуждали свежие сводки с фронта. За последнее время вести были все интереснее, все радостнее. Люди вокруг понимали, что тяжелая, страшная война пошла к концу.

За время лечения Фаины фронт существенно сдвинулся к западу.

После грандиозного сражения на Орловско-Курской дуге редкий день обходился без победных залпов-салютов на Красной площади в Москве. К концу лета сорок третьего года был освобожден Харьков. Шли упорные бои в Донбассе, дотла разрушенном фашистами. Один за другим выходили из неволи после кровопролитных боев Новороссийск, Брянск, Смоленск… Города Украины, в которых Фаина никогда не бывала, становились ей как родные: Полтава, Мелитополь,

Днепропетровск, Киев!..

Людей охватило радостное предчувствие близкой победы. Исхудавшие, бледные, в немыслимых обносках, ослабевшие телом, они открыто улыбались друг другу.

Новый Тагил, его заводы росли не по дням, а по часам. За то время, пока Фаина пролежала в больнице, подвешенная за руки и за ноги, пока училась снова ходить и двигать руками, было сделано очень многое.

За столиком в заводской столовой высшего командного состава главный механик, все еще худой, но уже порозовевший, пытался шутить, приветливо улыбался. А Фаина помнит, как однажды его принесли в больницу, упавшего без сознания по пути на завод. Тогда его лицо было сплошь покрыто зеленой пленкой трупной плесени. Но теперь и он воспрянул.

Часто можно было услышать веселые, не совсем приличные припевки про Гитлера и его свору. Но больше всех Фаине нравилась частушка, где были такие слова:

Мастерами из Тагила
Немцам роется могила!

Куда идти, что делать? Такого вопроса для Фаины не существовало. Врачи отговаривали, сестра Вера несколько раз плакала и умоляла «не делать глупостей». Фаина была непреклонна. Только к доменной печи! Пока идет война, пока на фронте гибнут люди — ее место там, у огненной летки.

По-настоящему взволновало только письмо Яши. Произошло это так. Однажды Вера увидела на тумбочке его письмо, узнала по почерку. Яша ведь до этого писал часто и много. Вера спросила:

— Яшин почерк?

Фаина молча кивнула.

— Что же он, подлец, обещался взять тебя, а сам письмецами отделывается. Хорош гусь!

— Да не ругай ты его, Вера. Я же ему написала, что замуж вышла…

— Ах ты, негодница! Что же ты мне-то голову морочила? Да зачем тебе это понадобилось-то? Человек к ней с душой, а она…

— Да так вот получилось. Написала, чтобы вы не стонали надо мной. Все кончилось у нас с ним.

— Ну, ладно! — только и сказала тогда Вера.

И вот пришло письмо от Яши. Он страшно ругал себя, назвал ослом за то, что поверил ее обману. А ведь в душе не верил… Просто поплыл по течению.

Потом, опять в письмах, рассказал, что избрали его

председателем завкома, часто выступает на собраниях, ставит людям в пример ее, Фаинин, подвиг на трудовом фронте. Женат давненько, двое малых детей. Но в семейной жизни несчастлив. Хоть и слышал о беде Фаины, просил разрешения приехать, порвать все старое, начать жизнь сызнова. Детей, дескать, он у своей жены отсудит. А нет, так алименты исправно посылать будет, чтобы ни в чем не нуждались…

Большое письмо в ответ написала Фаина. Благо, времени теперь хватало. Писала о том, о сем, а в конце не удержалась, черкнула, что наболело у самого сердца. Так и написала незабвенному, единственному Яшеньке:

> «Помоги ты жене своей стать хорошей. Ты же умный, образованный, чуткий такой… Помоги!»

Вечерами вспоминалось разное: Галима, красные кусты рябины, рябиновые браслеты, столовая, немец со своей песней… А то, когда зазнобит руки холодная вода, пригрезится нечаянно голос мамин:

— Шаловливые ручонки, нет покою мне от вас!..

И набегают на глаза непрошеные слезы.

А то с фронта вдруг придет письмо. И обидно, что уже так давно ничего не делаешь. Пусть вынужденно, пусть не по своей вине, а все-таки…

> «Фаина! Через два часа наша часть идет в бой. Мы включаем тебя в состав экипажа нашей самоходной установки. Клянемся, что выплавленный тобой металл будет попадать только в цель, круша фашистских бандитов!..»

С горечью вспоминала совет родичей, у которых жила когда-то на квартире, нянчила ребятишек. Они советовали судиться с заводом, требовать возмещения за увечье, полученное на работе. Обиделась так, что не могла даже рассердиться как следует. Просто нервно рассмеялась. Родичи не поняли и ушли в недоумении: уж не случилось ли что у Фаины с головой?..

Самое главное, что сейчас тревожило, — это тонкая, такая непрочная пленка молодой кожи на обожженных местах. При резком, неосторожном движении она сразу лопалась. Из ран шла кровь. По утрам Фаина упорно занималась специальными упражнениями.

В середине декабря незадолго до наступления тысяча девятьсот сорок четвертого года Фаина вышла к доменной печи. Рабочие почтительно встретили ее. Люди понимали, что перечить

сейчас ее желанию нельзя.

— Здравствуй, Домна Ивановна! Здравствуй, дорогая ты моя железная свекровушка! Хоть и досталось мне от тебя, а не в обиде я. Давай-ка вместе хорошее дело делать. Не могу я теперь без тебя. Приварила ты меня к себе, не отдерешь ничем. Ты уж постарайся, родная, не для меня — для дела… Не для забавы прошу, Домна Ивановна, а заплатила я за нашу дружбу сполна. Не только потом своим, но и кровью горячей. Да и сейчас ведь плачу…

Натужно гудели громадные черные трубы воздуховодов, суматошно вскрикивал паровозик, подтягивавший пару ковшей, сухо клевала спекшуюся глину пика, с придыханьем и аханьем падала в ковш огненная струя чугуна, шипели и взлетали искры, расцвечивая сумрак литейного двора…

Впереди были долгие годы тяжелой работы, была борьба за людей, которые рядом, и борьба с самой собою. Были и еще несколько операций, невыносимо долгие месяцы больничной отлежки и — снова работа.

Впереди были награды и почет, и известность, и слава, и торжественные речи, и съемки документального кинофильма, в котором главная актриса — она, Фаина Шаргунова. Это была небольшая лента о бессмертной дружбе с доменной печью, с железной свекровушкой, с Домной Ивановной, которую нужно было постоянно укрощать, и очень любить, и подчинять себе, чего бы это ни стоило…

Впереди было очень много всякого: веселого и отрадного, горького и сладкого до слез. Встречи с фронтовиками, с детьми тех, кто не вернулся с кровавых полей, кто остался навсегда в братских могилах на земле половины России и половины Европы.

Но выше всего этого стояла Крылатая и Светлая Великая Победа.

И долгие годы после Дня Победы часто припоминаются Фаине Васильевне Шаргуновой слова передачи по радио, прозвучавшей в далеком сентябре страшного сорок первого. Из Ленинграда говорил старый русский ученый, депутат Верховного Совета СССР, академик Александр Александрович Байков. Вот они, эти слова:

— Дорогие товарищи, сограждане мои! Я — старый металлург. Я привык думать, что нет ничего на свете крепче стали. А сегодня я убедился в своей ошибке. Да, я ошибся. — В голосе почтенного ученого было некое торжественное дрожание, волнение перебивало и так неглубокое дыхание много пожившего и много поработавшего человека. — Есть, оказывается, материал,

который еще крепче стали. Этот благородный материал — советские люди.

* * *

Живет на одной из центральных улиц старого и все-таки молодого Тагила женщина, человек легендарной, золотой судьбы. Нет у нее геройского звания, не блестит на ее груди Золотая Звезда. Но на ее груди есть след подвига, равного подвигу тех, кто вечно будет жить в памяти народа. Ибо никогда народ не был равнодушен к своим сыновьям и дочерям, отдавшим труд и отвагу верной и бескорыстной службе ему.

…А самой Фаине снится, что по-прежнему стоит в лесу, на угоре, рябина. А кругом — черемуха, дикие яблоньки, вишня… Раздольно цветут по весне деревья. Среди белокипенного черемухового цвета, непорочно-белых лепестков вишни и подвенечных уборов яблонь не сразу заметишь бархатистые, желтые, по-домашнему теплые кисти цветов рябины.

Но минет весна, а за нею пробежит и красное лето, и ударят первые иневые заморозки. Изо всех плодов леса ослепительно ярко, тревожно засветятся среди голых веток только рдяные кисти рябины.

Не возьмешь их летом в рот — до того горьки. А после первого же морозца закипит в них винной крепости сахарный сок. Сорвет человек кисть рябины, насыплет в ладонь несколько ягод и положит в рот. Терпкий кисло-горький сок опалит нёбо, заноют зубы, отчетливее и ровнее забьется сердце… И посветлеет у человека в глазах.

# ЭПИЛОГ

В основе этой книги лежит жизнь и трудовой подвиг уральской работницы Фаины Васильевны Шаруновой. Однако это не биографический очерк, а скорее повесть, автор которой ставил перед собой задачу художественного осмысления судьбы нашей замечательной современницы. Поэтому и фамилия героини повествования не Шарунова, а Шаргунова. Но тем не менее все основные факты, сам подвиг первой женщины-горновой, за исключением некоторых частных деталей, взяты из подлинной жизни женщины-металлурга. И когда была написана эта книга, я поехал в Нижний Тагил, к Фаине Васильевне Шаруновой.

…Три дня в ответ на звонки из кабин автоматов, из редакции городской газеты, с квартирных телефонов слышались унылые длинные гудки. Они приводили в отчаяние. Кто-то оказал, что она уехала отдыхать и лечиться к теплым берегам Черного моря…

В понедельник, накануне отъезда из Тагила, уже ни на что не надеясь, набрал заветный номер. И услышал спокойный женский голос…

— Да, это квартира Шаруновой… Да, это я… Правильно. Меня не было дома. И сейчас опоздай звонок на пять минут… Когда можно встретиться? Приезжайте хоть сейчас.

И вот мы за столом, в уютной, любовно прибранной квартире, с той особенной чистотой, о которой так радеют настоящие русские хозяйки.

У Фаины Васильевны на глазах слезы. Вспоминать те годы, теперь такие далекие, всегда волнительно. В воспоминаниях этих есть неистребимая горечь, крепкая, здоровая горечь хорошо и трудно прожитой молодости, поры зрелости и постижения простых и сложных жизненных истин.

Отдаю ей взятые некоторое время назад книги, фронтовые письма и фотографии, документы, трогательный альбомчик военных лет, сделанный из оберточной синей бумаги руками малышей-детдомовцев и подаренный первой в мире женщине-доменщице, горновому, тете Фае. Мы вместе рассматриваем наклеенные на синие страницы силуэты танков, кораблей, пушек, цветов и домиков из разноцветной бумаги…

— Если брать только конец прошлого года и начало этого, то и будет достаточно, чтобы понять, как и чем я теперь живу. Ну, например, в конце прошлого года побывала в Чехословакии. Конечно, я читала, как там живут. Но самой хотелось увидеть… Хорошо там живут. Культурно. Видишь, что рабочий класс и там стал настоящим хозяином жизни. Но если бы не Красная Армия,

не уральцы-танкисты, кто знает, что было бы в теперешней Чехословакии…

«И если бы не труженики тыла, если бы не такие, как вы…» — хочется добавить к этим словам.

— Ну, приехала домой, осмотрелась. А тут приглашения посыпались от старшеклассников. Приходите, расскажите, как выбрать правильный путь жизни, хорошую профессию, кем лучше стать в наше время? А что я особенного скажу? Рассказываю им о себе, о тех днях, о том, как сама выбирала этот путь… Вижу: одни равнодушно посматривают в окно, другие с любопытством таким, юношеским, всматриваются в меня, а слов вроде бы и не слышат. Зато есть такие девчонки! Хорошие девчонки!.. Бывает, уже уходишь из школы, а она тебя в коридоре за рукав останавливает. Глаза большие, и голос как бы охрип. Это от волнения. «Окажите, а это правда, что можно всего добиться, если захочешь?» Обнимешь ее за плечи, да так, по-матерински, и проговоришь до позднего вечера.

— Говорю с ними о современной молодежи. Какие они все разные, и интересы у каждого свои. Некоторые из вас думают, мол, что военные годы — сплошные лишения, горе и никакой отрады…

— А мы не только работать, мы и веселиться умели, в короткие минуты отдыха и споешь, бывало, и спляшешь. А главное — большая цель в жизни была, подъем такой царил, что будто и впрямь горы способен своротить. И не ради там рублей или премии какой, а ради самой цели, ради победы, ради лучшей жизни не для себя лично, а для всех вместе… Жаль, что некоторые из нынешней молодежи понять этого не могут или не хотят. Жить, конечно, много лучше стали. Да не все, видно, только в том, чтобы жить лучше. Надо знать, по-моему, для чего это лучше-то? Чтобы одеться покрасивее да поесть сытнее, чтобы все было: и машина, и гараж, и сад там, что ли, чтобы накопления на книжке?.. Нет, это еще не все. А если только ради этого, — не стоило бы, как говорится, и огород городить. Надо, чтобы в душе свет был, стремление, идея… Вера, что и всем вокруг тебя хорошо.

— Помню, как-то уже после аварии, после лечения пришла я к детдомовцам. Ну, рассказала о своей работе, о положении на фронте, что знала, о городе и о заводе. Малец один серьезно, так спрашивает: «Правда, тетя Фая, победим мы фашистов?» Конечно, говорю, победим, если все взялись. «А мои папа и мама уже не увидят, как все будут радоваться…» Горло у меня тогда перехватило, глотаю и не могу переглотнуть. Обняла я его и заревела… Реву, а сама думаю: скорее бы выздороветь, скорее бы

на работу.

— Ну, так вот, приехала из Чехословакии, прошлась по городу, и гордости за все наши дела прибавилось. А тут новое приглашение. На комбинат. Познакомилась там с хорошей женщиной, Ниной Кононовой. Она в цехе ширпотреба работает. «Просим, — говорит, — тебя, Фаина Васильевна, дать разрешение, чтобы приз твоего имени у нас был». Соревнование они у себя там организовали, изготовили красивую статуэтку с моим портретом военных времен. Молодая я там, в шляпе горнового. И звание такое установили — «Лауреат премии имени Фаины Шаруновой». Растрогалась я, благодарю, а сама слез не могу сдержать. А мне речь говорить надо. Я ведь не говорунья, а раз надо, значит надо. Спасибо, говорю, милые вы мои! Вот видите, что значит настоящая работа. Было бы, говорю, ударено, а когда-нибудь да вспухнет! А они смеются. И я смеюсь, и плачу от радости. Нет, не забывает народ доброе дело…

Приз имени Шаруновой присуждают раз в квартал. Первое вручение состоялось 8 Марта 1974 года. Сама Фаина Васильевна поздравила с трудовой победой резчицу И. Поводырь, бригадиров пути А. Подлас и Н. Никитину, токаря Е. Обухову, фрезеровщицу В. Жукову. Имена всех удостоенных приза имени Фаины Шаруновой заносятся в Книгу трудовых подарков нижнетагильских металлургов.

Незаметно и внимательно всматриваюсь в давно знакомое лицо. И убеждаюсь в несовершенстве искусства фотографии. Там, на фотографии в «Работнице», — усталая пожилая женщина, с печальными глазами. И тогда не верилось, что Фаина Шарунова стала такой пожилой, усталой и печальной. Нет, прежняя жажда жизни искрится в ее по-девичьи ясных и чистых глазах. И только в улыбке сквозит, — нет, не усталость и печаль, — а то самое познание жизненной горечи, которым так сильна и так устойчива душа русской женщины. И мне снова хочется прикоснуться, как к святыне, к ее ожогам и шрамам на ее руках. Ибо эти ожоги и шрамы — это морщины и шрамы на лице твоей и моей матери, морщины на лицах всех матерей России.

— Не всегда и не все любили и уважали меня. Разве забудешь такой случай? Как-то в начале пятидесятых уже годов узнала я, что план выплавки чугуна под угрозой срыва. А это означало одно: прощай слава доменного цеха, ну и премия, разумеется. И тогда решили пустить в переплав… слитки предыдущей выплавки. Оправдания, конечно же, были придуманы: не подвезли руду, нет нужной шихты, флюсы не подготовлены и так далее.

— Пошла я в партком, говорю, так, мол, и так, что же это

такое? Очковтирательство, говорю, и вообще нарушение всех норм и правил. А мне говорят, что я вроде дальше своего носа ничего не вижу, не думаю об интересах других. И еще кое-что мне сказали, чтобы не совалась не в свое дело и не поднимала шумихи. А я взяла да и подняла! Сколько разговоров-то было. У-у! Да ведь я пословицу материнскую да отцовскую помню: было бы ударено, а когда-нибудь да вспухнет. Вот и вспухло, на мою же голову. Теперь как вспомнишь, так интересно становится. Не знала я тогда, что сто раз права была. То есть знала, но как-то по-другому, молодо знала, что ли. И теперь ведь еще такое случается. А не надо бы!..

И вот мы проходим с Фаиной Васильевной такой знакомый, недлинный путь от ее дома до бывшего завода имени Куйбышева, ставшего теперь цехом гигантского Нижнетагильского металлургического комбината имени В. И. Ленина. Середина июня на Урале полна капризов природы — резких колебаний температуры, переходов от дождя к ослепительному солнечному небу, знобкому северному ветру, к короткому затишью, когда кажется, что земля прислушивается к подземному пульсу и, успокоенная, продолжает свое неизбывное вращение, и там, на Севере, как сказано в песне, белые медведи трутся боками о земную ось. Но говорят, что их осталось очень мало, белых медведей…

Нам повезло: день был сияющий, солнечный, и по небу плыли редкие пушистые облачка. Пересекаем парк с фонтаном, у которого резвятся малыши, выходим на Театральную площадь, где высится памятник создателям первого в России паровоза, умельцам Черепановым. А дальше — остатки тяжелых одноэтажных каменных строений времен первых Демидовых, со стенами метровой толщины, с решетками из железных ершей в приземистых окнах.

В парке имени Бондина мы несколько минут молча стоим у памятника Алексею Петровичу, слесарю железнодорожных мастерских, известному уральскому писателю-самородку, подвижнику труда рабочего и писателя.

И вот сверкающая гладь огромного заводского пруда, по глади которого скользит белокрылая яхта с косо поставленным парусом.

Мощные стены и купола старого собора, с насквозь пробитыми проемами окон, с вековым налетом неистребимой ржавчины, по-прежнему высятся на дальнем холме за прудом. Правее, на облысевшем холме, над пестрыми улочками Гальянки, высится строгая и вместе с тем такая домашняя, знакомая часовенка, около которой много лет стояла вышка

телевизионного ретранслятора, что все эти годы была как бы символом города, соединившим старое и новое, советское.

А еще чуть правее, у окончания пологого зеленого склона, вот уже два века дымится завод, и две его небольшие доменки, как и встарь, все еще выдают чугун особой марки, где работала Фаина Васильевна.

Еще правее — срезанная вершина горы Высокой, которая теперь уже и не гора вовсе, а глубокое дупло титанического зуба, из которого вычерпано все: высокосортная железная руда, международная слава марки «старого соболя», клейма, что ставилось на слитках нижнетагильского железа, бессонный труд мальчишки, Героя Труда Димки Пестова, который тридцать лет просидел за рычагами горного экскаватора, награжден несколькими орденами Ленина и навечно вписан в память тагильчан, прошлое и настоящее уральского города. Правее горы Высокой — мощный копер рудодобывающей шахты, с новейшим электронным оборудованием, дающей руду особого качества.

Не хватит никаких страниц, чтобы описать, что расположено еще правее этой шахты. Там — наше светлое будущее.

Прошу на прощание Фаину Васильевну написать несколько слов. Она соглашается.

> «Повесть М. Лаптева не точная копия моей жизни. Но это правдивый рассказ обо мне, моих современниках, о нашем времени. Это было нелегкое, но памятное время. И я счастлива, что принадлежу этому героическому времени.
>
> *Фаина Шарунова».*